



Давид Яковлевич Айзман

## Кровавый разлив

АЙЗМАН Давид Яковлевич [1869–1922] — русско-еврейский беллетрист. Лит-ую деятельность начал в 1901, первый сборник рассказов вышел в 1904 (изд. «Русского богатства», СПб.). Внимание А. привлекала прежде всего еврейская среда; его повести и рассказы: «Ледоход», «Кровавый разлив», «Враги» и др. — беллетристическая интерпретация так наз. «еврейского вопроса» (бесправное положение евреев в царской России, их взаимоотношения с окружающим населением и т. д.), выдержанная в обычном либерально-народническом духе. Оставаясь в общем верным старой реалистической манере письма, А. по ряду внешних признаков примыкает к группе писателей (самым ярким ее представителем является С. Юшкевич), к-рая разрабатывала условный «русско-еврейский» стиль, стремясь оттенить строй еврейской речи.

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0021
III.....	.0027
IV.....	.0035
V.....	.0050
VI.....	.0081
VII.....	.0091
VIII.....	.0104
IX.....	.0124
X.....	.0132
XI.....	.0141
XII.....	.0157
XIII.....	.0166
XIV.....	.0176
XV.....	.0187

**Д. Айзманъ**  
**Кровавый разливъ**

... **Б**езпокойство царило въ домъ,  
томленіе и глухая печаль.

И раздраженіе...

Раздраженіе было отъ сознанія, что все могло бы идти отлично, мирно и пріятно, все могло бы протекать и совершаться по установленному порядку, доброму и милому, въ тихой суетливости, въ свѣтломъ и дружелюбномъ согласіи, все могло бы быть очень хорошо, — но вотъ, влилъ добровольно человекъ въ свое сердце ненужную муку, тревогу и скорбь, влилъ, а другія сердца, близкія, родственно-чуткія, должны отзываться на скорбь смутной печалью и тяжкимъ, глухимъ безпокойствомъ...

Арина Петровна, крупная, полная женщина, съ шарообразной головой, съ маленькимъ носомъ надъ тонкими, яркими губами, сердито смотрѣла впереди себя выпуклыми, круглыми, лишенными рѣсницъ, сѣрыми глазами, а отецъ Павелъ устремилъ свой взоръ на жену, и во взорѣ этомъ и робость была, и

укоръ, и тихая просьба ребенка...

— Пойду къ нему! — сказала Арина Петровна.

Отецъ Павелъ встревожился.

— Не надо бы... докучать бы не надо...

— А онъ намъ не докучаетъ! — попадья повернулась къ двери. — Смотрѣть на него буду!..

Отецъ Павелъ встревожился сильнѣе.

— Наталью-то... Наталью изъ дому выжили... Какъ бы и онъ не ушелъ.

— Федоръ-то?.. — На лицѣ попадья появилась пренебрежительная улыбка. — И много ты, попъ, понимаешь!

Она оправила на себѣ юбку и передникъ и, окинувъ мужа брезгливымъ взглядомъ, тяжело ступая, направилась къ сыну.

Въ глубинѣ кабинета, у окна, сидѣлъ Пасхаловъ, Федоръ Павловичъ, человекъ лѣтъ тридцати, высокій, худой, узкогрудый. У него почти совсѣмъ не было усовъ, а золотистая бородка росла узкой каемкой близко у ушей и подъ челюстями, такъ что собственно лицо оставалось безъ растительности, чистымъ. Онъ былъ блѣденъ и вообще казался

человѣкомъ нездоровымъ, а потому впечатлѣніе странное производило яркое пятно его свѣжихъ, рѣзко очерченныхъ губъ. Странное что-то было и въ глазахъ Пасхалова, большихъ, свѣтло-сѣрыхъ, съ зеленоватымъ отливомъ. Они сидѣли очень глубоко, подъ прямыми, у переносицы слегка поднятыми бровями, и выраженіе въ нихъ было какое-то особенно сложное — виноватое, недовольное, грустное... Точно увидѣлъ человѣкъ этотъ въ далекіе дни злое, несправедливое дѣло, захотѣлъ въ него вмѣшаться, ривуться въ борьбу, но силъ для этого въ себѣ не нашель, очутился внѣ битвы, — и ужъ такъ, съ горькой неудовлетворенностью, съ мучительной скорбью о своей неудачливости, навсегда и остался...

— Федя... Что жъ это такое будетъ?

Арина Петровна охватила низъ своего вздутаго живота обѣими руками и укоризненнымъ, холоднымъ взоромъ уставилась на сына.

— Что такое?

— Какъ «что такое»?.. Спрашиваетъ еще!.. Не ѣшь, не пьешь, молчишь все... скучный...

Куришь не переставая, — а отъ табуку въ печенкѣ камни дѣлаются...

Часъ назадъ, за обѣдомъ, былъ разговоръ. Арина Петровна выражала мысли такія жестокія и безчеловѣчныя, что Федору Павловичу, — хоть онъ и хорошо зналъ свою мать, — сдѣлалось нестерпимо тяжело и противно, и онъ, не докончивъ обѣда, всталъ изъ-за стола и ушелъ. Теперь это появленіе матери, ея нѣжныя заботливыя слова его раздражали, тяготили и вызывали въ немъ чувства враждебныя и злыя.

«Тысячу человѣкъ зарѣжутъ, — и это ей ничего, даже довольна... А не доѣлъ сынокъ котлеты, — и вся встревожилась»...

## 2.

Послышались шаги... Потомъ на порогъ показалась небольшая, худенькая фигурка молодой дѣвушки. Лѣтъ двадцать было дѣвушкѣ, она была бѣлая и розовая, съ голубыми, смѣющимися глазами, съ яркимъ, веселымъ ртомъ. Чѣмъ-то легкимъ и прозрачнымъ вѣяло отъ нея — отъ простодушнаго, открытаго взгляда, отъ серебристыхъ, почти дѣтскихъ переливовъ яснаго голоса и все ка-



залось, что вотъ запоеть эта дѣвушка весело, или зазвенить безпричиннымъ и радостнымъ смѣхомъ, — смѣхомъ молодости и силы, смѣхомъ, въ которомъ свѣтъ апрѣля слышенъ, и дыханіе травъ степныхъ, и отсвѣты чистаго неба.

— Наталья? — удивленно вскрикнула Арина Петровна.

— Я, мама.

Дѣвушка добродушно усмѣхнулась.

— Вотъ, пришла, — сказала она потомъ.

На головѣ ея былъ небольшой, жокейскій картузикъ, съ козыречкомъ и съ пуговкой наверху, съ плечъ падала длинная, сѣрая пелерина, и было видно, что подъ оттопыренной полой пелерины рука держитъ небольшой, но плотно набитый чемоданчикъ.

— Пришла, но сейчасъ и ухожу... Вотъ въ чемъ дѣло, — она опустила чемоданчикъ на полъ. — Я уѣзжаю ночнымъ пароходомъ... Я на квартирѣ расплатилась, и... и... поругалась тамъ немножко, и... — дѣвушка запиналась, — ну, мнѣ тамъ ужъ неудобно было оставлять вещи... Я принесла... вотъ... — Она толкнула ногой чемоданъ.

Лицо дѣвушки сдѣлалось какимъ-то напряженнымъ. Было похоже, что она что-то путаетъ, говоритъ неправду, сочиняетъ, и при этомъ чувствуетъ, что сочиняетъ нескладно и неправдоподобно... Она быстро отвернулась и стала подсовывать чемоданчикъ подъ диванъ...

— Вотъ еще новости! — сердито вскрикнула Арина Петровна, — Да куда же ты, Наташа, ѣдешь?

— Туда, куда надо, мама... Какъ разъ туда.

Опять лицо Натальи прояснилось, и голосъ прозвучалъ свѣтло, просто и увѣренно. Была какая-то особенная рѣшимость въ немъ, особенная опредѣленность и энергія, и чувствовалось ясно, что ни противорѣчить, ни спрашивать дальше уже нельзя...

— Да ужъ, конечно... ужъ если ты сказала... — Арина Петровна печально, но съ легкимъ отѣнкомъ злобы, развела руками... — Ужъ ты извѣстно какая.

Наталья Павловна уже около года не жила съ родителями. Она оставила ихъ, когда Арина Петровна выразила неудовольствіе по поводу того, что къ дочери ходитъ разный

темный народъ. Къ Натальѣ Павловнѣ дѣйствительно приходило много людей, — молодежи и рабочихъ, — и сама она тоже много уходила изъ дому, и часто не возвращалась ночевать, часто давала у себя пріютъ разнымъ невѣдомымъ лицамъ. О. Павель сносилъ это молча, печально вздыхая, Арина же Петровна терпѣла со скрежетомъ зубовнымъ, цѣлыми днями сердито огрызаясь и осыпая дочь язвительными намеками. Но намеки Натальѣ надоѣли, и она изъ дому ушла. Не было бури при этомъ, ни сколько-нибудь шумной ссоры, — собрала свои вещи, сказала, что не можетъ стѣснять другихъ, но не хочетъ, чтобы стѣсняли ее, — и ушла... Къ родителямъ она потомъ заходила — не часто, и всегда только въ тѣ часы, когда бывалъ дома О. Павель; она говорила съ ними о разныхъ дѣлахъ и о разныхъ людяхъ, и только о себѣ не говорила, о томъ, чѣмъ занята, и какъ проводить дни. Но старики и сами знали, что дѣлаетъ дочь. Революціонерка, занимается пропагандой на литейномъ заводѣ, печатаетъ прокламаціи, — и не сегодня-завтра ее посадятъ... Разъ уже было арестовали Наталью, но

должно быть важнаго ничего не вашли, продержали семь недѣль, а потомъ отпустили... Пробовала Арина Петровна умолить дочь, вернуть ее домой, на путь истины наставить, но ничего не выходило: съ первыхъ же словъ матери, ласковое, тихое, полудѣтское лицо Натальи становилось такимъ каменнымъ и рѣзкимъ, такая холодная пренебрежительность появлялась въ ея свѣтлыхъ глазахъ, и такая поднималась въ нихъ грозная сила, что — чувствовала Арина Петровна — одну только злобу и негодование рождаютъ всѣ укори ея и моленія... А потомъ ужъ не было и этого; дочь оставалась равнодушной и безразличной, совершенно спокойной, — точно и не слышитъ ничего изъ материнскихъ укоровъ, точно на другомъ краю безмѣрной степи стоитъ она, и не доходитъ голосъ...

Но отцу Павлу Наталья однажды сказала:

— Хочу жить по правдѣ, папаша, какъ совѣсть велить... Что же скажешь?..

Старикъ опустилъ голову, думалъ напряженно, пожималъ плечами, что-то неясно шепталъ... Потомъ, обративъ къ дочери успокоенное лицо, тихо ее благословилъ...

И когда, затѣмъ, приходила она къ нему, — всегда радостная, бодрая и свѣтлая, весеннимъ утромъ обвѣянная, ароматомъ юности звенящая, — тепло и радостно становилось старику, билось съ гордостью отцовское сердце, и умиленіемъ свѣтились глаза... Отъ жены онъ скрывалъ свои чувства. При женѣ хмурился онъ и ворчалъ на дочь, но внутренно весь наливался свѣтлой печалью, нѣжной печалью гордости и красоты, и въ молчаніи дочь благословлялъ...

### 3.

— Я вечеромъ зайду за чемоданомъ, — сказала Наталья Павловна. — А если не успѣю, такъ ужъ завтра

— У тебя тамъ, часомъ, не книжки запрещенныя? — съ тревогой спросила Арина Петровна. — Ужъ вѣрно прокламаціи... Лучше бы ты ихъ въ другое мѣсто куда...

Наталья холодно, съ выраженіемъ безразличности, посмотрѣла на мать...

— Чутье у васъ ничего себѣ, — сказала она: — какъ у сыщика... Ворочемъ, прокламацій нѣтъ... — И звонко разсмѣялась: — даю вамъ слово, что ни одной прокламаціи въ чемо-

данъ нѣтъ. Будьте спокойны.

Наталья прошла по комнатѣ и, остановившись противъ зеркала, стала себя разсматривать.

— Федоръ, — начала она:— а ты бы попробоваль еще... Можетъ быть уѣхать бы тебѣ отсюда.

— Вотъ выдумала чего! — въ тревогѣ вскрикнула Арина Петровна. — Сама, Богъ тебя знаетъ, куда ѣдешь, и его тоже подбивать пришла... Куда ему ѣхать?

Наталья, не отвѣчая матери, все смотрѣла — то въ зеркале, на себя, то на брата.

— Ротъ... носъ... овалъ лица... — медленно, тихо и задумчиво говорила она. — Какъ будто и похожа я на тебя, и какъ будто и совсѣмъ не похожа... Не пойму.

Помолчавъ, она также задумчиво и неторопливо продолжала:

— Люблю я тебя?.. Люблю, да... Уважаю?.. Нѣтъ, Федоръ, не могу тебя уважать.

— Что за странный разговоръ?

— Вся эта обстановка... общество... обиходъ домашній... эти бѣлыя церковныя стѣны... Ты,

Федоръ, слишкомъ близокъ къ церковнымъ стѣнамъ...

— Ты-то сама въ какихъ стѣнахъ живешь? — вызывающе огрызнулась Арина Петровна.

— Конечно, ты человекъ, уже давно сложившійся, — говорила Наталья. — Но все-таки... попытаться бы еще... Вѣдь такъ же нельзя, Федоръ, вѣдь нельзя же такъ! — со скорбной горячностью юнаго, любящаго и сильно страдающаго существа вскрикнула она.

— А пошла бы ты себѣ, Наталья, откуда пришла, — строго нахмурилась Арина Петровна.

— Ты взгляни, что вокругъ дѣлается... и ты посмотри на себя... Если бы ты былъ... ну хоть Васильковскимъ, что ли, я бы понимала тебя... Но, Федя, ты же не онъ, ты не онъ... Господи, я неужели толкъ изъ тебя такой же, какъ и изъ него!

Она сказала это со стономъ. И почувствовала вдругъ, что брата любить, горячо и сильно.

— Если бы ты былъ мнѣ чужой, я бы съ то-

бой объ этомъ двухъ словъ не сказала. Я мало надѣюсь на тебя... Но — братъ вѣдь ты!.. И мнѣ больно...

Она направлялась къ двери.

— И придется, можетъ быть, говорить еще не разъ... Трудно мнѣ молчать... А теперь мнѣ идти... Такъ до вечера... или до завтра.

— Вернулась бы ты, Наталья, домой, — жалобно сказала Арнна Петровна. — Ъдешь вотъ, а Господь одинъ знаетъ, куда пріѣдешь.

— До завтра, — повторила Наталья, кивнувъ брату. — Завтра я приду.

Она бросила озабоченный взглядъ на чемадавъ и не торопясь вышла.

#### 4.

Пасхаловъ долго ходилъ потомъ по комнатѣ, взволнованный. Онъ читалъ газету, — старую, уже читанную бросалъ ее, нервно переставлялъ вещи на столѣ... Онъ взялъ съ этажерки длинную конторскую книгу, въ которую записывалъ наиболее интересные случаи изъ своей практики, и сталъ ее перелистывать. Онъ просматривалъ исторію нѣкоторыхъ болѣзней, пополнялъ ихъ воспоминаніями, отрывочными



размышленіями о ходѣ лѣченія, о самихъ пациентахъ, и занятіе это успокаивало его и отвлекало отъ тревожныхъ и сумрачныхъ чувствъ.

Кесарево сѣченіе у жены податного инспектора... Переломъ трехъ реберъ... Загадочный параличъ нижнихъ конечностей у Гогулицкаго... Случай съ Кочетковымъ...

Когда Федоръ Павловичъ пробѣгалъ исторію заболѣванія Кочеткова, хмурое выраженіе сходило мало помалу съ его лица, и на полныхъ, свѣжихъ губахъ его заиграла добродушная улыбка.

Тихонъ Кочетковъ, шестнадцатилѣтній паренъ, былъ плотникъ. Весною пришелъ онъ изъ Саратовской губерніи и нанялся работать на баржѣ, на рѣкѣ. Во время работы онъ упалъ, всего съ высоты какого-нибудь аршина, но такъ несчастливо, что разбилъ себѣ надколѣнную чашечку. Ногу залили гипсомъ, и больной пролежалъ въ постели шесть недѣль. Понемногу кость срослась; Кочетковъ, при помощи костылей, началъ уже передвигаться. Еще недѣля другая, и онъ былъ бы совсѣмъ здоровъ. Но тутъ случилась новая

бѣда.

Ковыляя однажды по больничному двору, Кочетковъ увидѣлъ, что за курицей гонится Дружокъ, кухаркина обака. Онъ крикнулъ на Дружка, — собака не унялась.

Кочетковъ сталъ кричать громче... Курица съ отчаяннымъ кудахтаньемъ, хлопая крыльями, падая и ударяясь грудью объ землю, носилась по двору, изъ стороны въ сторону, изъ угла въ уголь, а разыгравшійся Дружокъ мчался на ней съ радостнымъ лаемъ и уже настигалъ ее... На крики Кочеткова онъ временами оглядывался, съ веселой, плутоватой хвастливостью — «ага, какой я молодчина!..» Неловко подпрыгивая, стуча костылями, Тихонъ понесся на выручку. Но бѣжать было далеко. Курица съ собакой бросались изъ одного угла въ другой, больная нога у мальчика не сгибалась, — а Дружокъ уже схватилъ свою жертву ногами... и уже летѣли по двору ея бѣлыя перья... Кочетковъ поднялъ тогда надъ головой костыль, широко раамахнулся и швырнулъ имъ въ Дружка. И тутъ же, лишенный опоры, какъ подрубленное деревцо, тяжело грохнулся на камни мостовой... Сросша-

яся, но еще не окрѣпшая кость переломилась во второй разъ, и разорвалось сухожиліе.

— Щожъ це ты, бісова таракуцка, зроби-въ? — съ ласковымъ укоромъ говорилъ подворотній Трохимъ, внося искалѣченнаго мальчика въ палату.

Помертвѣвшее лицо Тихона все дергалось и корчилось отъ жестокой боли.

— Жа...жалко ку...рицу, — сквозь стоны, лишаясь чувствъ, пролепеталъ онъ.

Къ молодому плотнику этому Федоръ Павловичъ относился съ какою-то особенной, совершенно исключительной симпатіей. Ему нравились въ немъ и голосъ, и выговоръ, и ласковая, кроткая улыбка, и рѣзкая, не знавшая уклоновъ, ничему не уступавшая, правдивость, въ присутствіи его онъ всегда становился какъ-то веселѣе и разговорчивѣе... Онъ часто наводилъ мальчика на разговоръ, — о родной деревнѣ, о голодѣ въ ней, о Волгѣ, о лѣсныхъ скитахъ, о беспорядкахъ и бунтахъ, объ агитаторахъ, приходившихъ въ деревню, — и пока тотъ говорилъ, онъ вдумчиво и дружески смотрѣлъ въ его красивые, синіе глаза... Въ усталую душу вливалось чувство

тихаго и сладкаго успокоенія, свѣтлыя надежды снова вставали въ ней, вставали и росли, — а минутами, когда мальчикъ вдругъ вспыхивалъ возмущеніемъ и гнѣвной энергіей, надежды эти превращались въ крѣпкую и радостную увѣренность...

И продолжая вдумчиво вглядываться въ ясные, правдивые глаза Кочеткова, продолжая вслушиваться въ милыя, то нѣжныя, то гнѣвныя ноты, онъ мысленно говорилъ:

— Ничего, возьмешь свое! Все побѣдишь и что нужно — возьмешь!

...Образъ Тихона Кочеткова отчетливо рисовался теперь Федору Павловичу. И встревоженная, оскорбленная, жаждавшая просвѣта душа доктора улыбалась ему, тихо и благодарно...

## II

### 1.

**В**ъ этотъ вечеръ сапожникъ Абрамъ сидѣлъ за ужиномъ, и на лицѣ его была тревога и сосредоточенная, мрачная дума.

Была суббота, и блюда стояли передъ Абрамомъ отмѣнные: рыба, остатки бульона, куриное горло и компотъ изъ яблокъ и лимонной корки. Ълъ, однако, Абрамъ разсѣянно, молча, не обращая никакого вниманія на изысканность блюдъ и не думая о нихъ. И жена Абрама, Хана, сидѣвшая на кровати, по другую сторону стола, обидѣлась.

— Такъ курицу не ѣдятъ!.. Если такъ вотъ ѣсть, то можно и картошку въ мундирахъ варить...

И обиженной женщиной захотѣлось мужа проучить и отнять у него рѣдкія, дорого стоящія блюда. Но сдѣлать это она не могла: она страдала водянкой, все тѣло ея, всѣ члены, — руки, ноги, торсъ и даже голова, — были сильно вздуты и налиты водой, и она уже четвертый мѣсяцъ не вставала съ постели.

Она и не ложилась тоже, и день и ночь

проводила въ сидячемъ положеніи, опираясь на подушки. Ей трудно было шевельнуть ногой или рукой, и когда приходилось поправлять ея постель, Абрамъ звалъ сосѣда-меламеда, его жену или тещу, и всѣ вмѣстѣ, съ большимъ трудомъ, приподнимали больную, поддерживали ее минуту-другую въ стоячемъ положеніи, а Роза, тринадцатилѣтняя дочь Ханы, тѣмъ временемъ, быстро дѣйствовала узкими, худыми руками по кровати, взбивала подушки, мѣняла простыню. Больная тяжело опускалась потомъ на постель, — какъ огромный мѣшокъ съ пшеницей. Опускалась и застывала въ мертвой неподвижности... И въ неподвижности этой было что-то дикое и страшное, и страшное было въ искаженныхъ, неправдоподобныхъ формахъ больной. Не человѣкъ сидитъ, казалось, а какое-то безумное смѣшеніе человѣка съ огромнымъ животнымъ, что-то невозможное, небывалое, невѣроятное, что-то выходящее вонъ изъ предѣловъ человѣческаго пониманія, изъ всѣхъ существующихъ и возможныхъ въ воображеніи нормъ... Темную оторопь, тревожную тоску вызывало это непонятное та-

инственное извращеніе, — и только послѣ большихъ усилій, и только послѣ долгаго навѣя и присматриванія, соглашались мириться съ нимъ глазъ и душа... — «Милліонщикъ! — гнѣвно думала Хана: — завтра у него опять будетъ курица... видалъ ты такое!..» Ей хотѣлось — если ужъ наказать нельзя — по крайней мѣрѣ поучить, какъ слѣдуетъ, мужа, прочесть ему и разительную нотацію, объяснить ему всю неделикатность его и легкомысліе; уже приходитъ стали въ голову хорошія слова, язвительныя, ѣдкія, но тутъ вздутыя вѣки больной опустились, дыханіе сдѣлалось глубокимъ, и она погрузилась въ дремоту.

Со времени сильнаго развитія болѣзви, у нея появилась особаго реда сонливость, похожая на одурѣніе, и послѣ короткаго промежутка вялаго бодрствованія она впадала въ состояніе длительнаго, тупого забытья.

Абрамъ искоса посмотрѣлъ на жену. И замѣтивъ, что она спитъ, отодвинулъ отъ себя тарелку съ недоѣденнымъ куринымъ горломъ и подперъ голову кулакомъ. Ёль онъ и пиль, повидимому, только для того, чтобы до-

ставить удовольствіе больной, чтобы не вызвать въ ней подозрѣній... Ему же самому было не до ѣды.

## 2.

— Розочка, — тихо позвалъ онъ послѣ продолжительнаго молчанія. — Розочка... дай мнѣ что-нибудь почитать... исторію дай...

Онъ былъ большой охотникъ до чтенія. Всего больше любилъ онъ газеты и нелегальные листки. Но когда газетъ не было, читалъ что попадалось, читалъ и перечитывалъ учебники дочери, географію, исторію, — и даже задачникъ Минина и Арбузова онъ просматривалъ много разъ...

Розочка, худенькая, бѣлокурая дѣвочка вошла въ комнату. И все здѣсь точно озарилось вдругъ тихимъ, матовымъ свѣтомъ. И въ нѣжномъ мерцаніи его, какъ сгустокъ тумана, мягко проступало узкое, блѣдное личико, и на немъ странно темнѣли огромные, синіе глаза.

Безъ улыбки смотрѣли глаза, и безъ хмурости, и не было въ нихъ и печали. Они были широко раскрыты, глядѣли куда-то впередъ, далеко куда-то, — сквозь стѣны, сквозь тьму,



за стѣнами скопленную, — и то, что видѣли они тамъ, полно было тайны, тайны могильнаго холода...

— Дочечка... почитать... что-нибудь почитать...

Но на книжку, которую дѣвочка молча положила передъ отцомъ, Абрамъ и не взглянулъ. Книжка не была ему нужна. Ему нужно было увидѣть свою дѣвочку, ея маленькую, худую фигурку... И еще ему нужно было эту маленькую фигурку привлечь къ себѣ, на грудь, приложиться заросшей щекой къ лицу ея, къ бѣлому гребешочку на ея головѣ, и бурнымъ, клокочущимъ шопотомъ рассказать про свое горе, про свой страхъ, про свои муки, и просить утѣшенія. Утѣшенія просить, и утѣшенія дать, — ей его дать, бѣдной, загнанной, тѣми же страхами томящейся, тою же мукою замученной, скорбной, мятущейся дѣвочкѣ...

Но сдѣлать это онъ не посмѣлъ.

Онъ смотрѣлъ нѣкоторое время въ раскрытую дверь, гдѣ виднѣлась длинная, бѣлокурая коса и бѣлый дугообразный гребешочекъ... Потомъ онъ погасилъ свѣчу и легъ.

Онъ провелъ одну изъ тѣхъ безконечныхъ, кровавыми призраками населенныхъ ночей, которыхъ такъ много было потомъ въ его жизни...

Онъ ложился, лицомъ къ стѣнѣ,- такъ близко къ ней, что его начиналъ душить кислый запахъ отсырѣвшей извести. Потомъ онъ поворачивался и устремлялъ глаза въ черную пустоту комнаты. Онъ вздрагивалъ, быстро вскакивалъ, садился, трепетно прислушивался... И временами, охваченный нестерпимымъ ужасомъ, начиналъ шептать торопливую молитву.

# III

## 1.

Утромъ, вначалъ десятаго, Абрамъ вышелъ изъ дому и направился на базаръ, къ башмачному ряду. Здѣсь, у самаго начала ряда, противъ длиннаго, крытаго соломой амбара съ надписью синькой по желтому «Продажа къ Римски соль», стоялъ большой сѣрый рундукъ. Абрамъ приблизился къ нему и внимательно сталъ его оглядывать. И онъ не просто оглядывалъ, а какъ бы изучалъ рундукъ: ощупывалъ, толкалъ, постукивалъ рукой по крышкѣ, отходилъ въ сторону и смотрѣлъ на сѣрую махину издали... Онъ точно допытывалъ ее, упрямо молчаливую, и о чемъ-то тоскливо просилъ...

— А, здравствуйте, господинъ Абрамъ, — раздался вдругъ ласковый, любезный голосъ.

Абрамъ вздрогнулъ и быстро обернулся. Сзади стоялъ Небесный, Акимъ Лаврентьевичъ, фельдшеръ городской больницы. Правой рукой онъ вѣжливо поднималъ надъ головой кожаную фуражку, въ лѣвой держалъ большой фотографическій аппаратъ и заворочен-

ный въ черное сукно треножникъ.

— Какое пріятное утро, — удивительно сладкимъ и какимъ-то всхлипывающимъ голосомъ говорилъ фельдшеръ, ласково и нѣжно улыбаясь. — Неправда ли, чудесное?.. А вы свой магазинъ открываете, господинъ Абрамъ?.. А желаете, я васъ сниму. Сейчасъ! Вотъ какъ вы сидите за рундукомъ и торгуете!.. Вы согласны? Вамъ угодно?

Глаза Абрама сдѣлались какими-то особенно напряженными. Казалось, силится этотъ человекъ понять что-то, силится, и понять не можетъ...

— Вы будете себѣ сидѣть и торговать, а я чикъ-чикъ! — и сниму васъ.

Акимъ Лаврентьевичъ проворно поставилъ на землю аппаратъ, и началъ отматывать съ треножника черное сукно. Лицо фельдшера, круглое, бритое, жирное, съ влажными губами, съ аляповатымъ, на крупную грушу похожимъ носомъ, и съ узенькими глазками, озарилось такой радостной, блаженной улыбкой, что можно было подумать: Богъ вѣсть какія сладкія и рѣдкостныя ощущенія должны сейчасъ нахлынуть и затопить этого

человѣка.

— Снимать?.. Да... да... хорошо, — торопливо проговорилъ Абрамъ, уловившій наконецъ смыслъ фельдшерскаго предложенія. — Снимите... Только, знаете, не сейчасъ, Акимъ Лаврентьевичъ, какънибудь другимъ разомъ.

— Другимъ разомъ... — Черное сукно упало къ ногамъ Акима Лавреитъевича. — Ну хорошо. Хорошо. Таки другимъ разомъ... Когда захотите, господинъ Абрамъ. Я всегда съ удовольствіемъ. — Онъ опять завернулъ треножникъ въ сукно и поднялъ съ земли аппаратъ. — А сейчасъ я на пристань иду, уходящій пароходъ буду снимать... Я вамъ тоже дамъ снимокъ, хотите, господинъ Абрамъ? Да?

У фельдшера Небеснаго было постоянное непреходящее горе: никто въ цѣломъ городѣ не хотѣлъ питать къ нему уваженіе. Фельдшеръ онъ былъ хорошій, манеры имѣлъ элегантныя, одѣвался всегда по модѣ, занимался такимъ благороднымъ, аристократическимъ искусствомъ, какъ фотографія, а люди относились къ нему съ обиднымъ пренебреженіемъ,

съ насмѣшливой фамиллярностью, нерѣдко переходившей въ грубое издѣвательство... Чуть не всѣхъ замѣтныхъ людей въ городѣ онъ переснялъ — даромъ, никогда не соглашался брать даже за пластинки, былъ неизмѣнно предупредителенъ, услужливъ, любезенъ, — а его всѣ огорчали... Когда Акимъ Лаврентьевичъ оставался одинъ, онъ жестоко мстилъ людямъ: ругалъ ихъ смѣло и нещадно, и даже кулакомъ объ столъ стучалъ. Но въ бесѣдахъ съ ближними сразу дѣлался сверхъестественно милымъ, почтительно-преданнымъ, почтителенъ былъ даже съ низшими, даже съ Аксюткой, больничной прачкой; а та, напиваясь пьяной, подпирала руками бока, и на весь больничный дворъ, на всю госпитальную улицу, голосисто и безъ запинокъ, возвѣщала: «хоть ты и фельчиръ, хоть ты и фотографчикъ, а я вотъ тебѣ дамъ дулю, а ты слопай...» Небесный сокрушенно слушалъ плохо воспитанную женщину, и тихо улыбался виноватой, почтительно-милой улыбкой...

Мило улыбнулся онъ и Абраму. Но, отойдя отъ него шаговъ на двадцать, оглянулся и

сдѣлался отважнымъ.

— Ахъ ты, жидюга!.. «Другимъ разомъ»... А подождешь ты, Симъ, Хамъ и Іафетъ, другого разу... Да я тебя, свиное ухо, и за тыщу рублей снимать не сталъ бы, аппаратъ паскудить... Бьютъ вотъ васъ, да мало... Стребить васъ всѣхъ надо, лапсердакъ хвостатый... фаршированный царь Давидъ...

## 2.

Пока длилась эта лирика, Абрамъ огибаль площадь, направляясь домой. На углу, подлѣ длиннаго, желтаго зданія «Столичной Гостиницы» онъ увидѣлъ высокую фигуру доктора Пасхалова. Абрамъ встрепенулся; что-то похожее на надежду вдругъ пробѣжало у него по лицу, и онъ сталъ нагонять доктора.

— Ахъ, это вы, — воскликнулъ Федоръ Павловичъ, пожимая Абраму руку. — Что слышно у васъ?

Вмѣсто отвѣта, Абрамъ поднялъ на Пасхалова свои налитые тревогой выпуклые, сѣрые глаза... И взгляда этихъ глазъ Пасхаловъ не выдержалъ. Онъ отвернулся и уставился на землю, на засохшіе стебли колючекъ.

— Федоръ Павловичъ... что я у васъ спро-

шу... вы не слыхали?.. Это таки будетъ?..

Пасхаловъ какъ-то странно съежился: точно хлысть поднялся надъ нимъ.

— Послушайте, Абрамъ, это невозможно! — не то просительно, не то убѣждая вскрикнулъ онъ. — Я... я не могу этому повѣрить.

То особенное выраженіе, похожее на далекую надежду, которое появилось было въ сѣрыхъ глазахъ Абрама, мгновенно погасло. Не этого хотѣлъ Абрамъ. Ему, для успокоенія, нужно было что-нибудь опредѣленное, точное, ясное. А взволнованныя восклицанія Пасхалова имѣли вліяніе какъ разъ обратное и только болѣе мучительною дѣлали тревогу сердца.

Пасхаловъ понималъ это. Онъ понималъ и то, что для Абрама, — даже для Абрама! — онъ челоѣкъ изъ враждебнаго стана, и эта мысль давила его и оскорбляла. Ближе, чѣмъ когда-либо, былъ ему Абрамъ, сильнѣе, чѣмъ всегда, влекло его къ еврею, но цѣлый океанъ отчужденности лежалъ теперь между ними. И не могъ онъ, и не смѣлъ онъ взять еврея за руку, и не смѣлъ онъ, какъ хотѣлъ бы, въ



страстныхъ, торопливыхъ словахъ сказать ему о боли своей, о стыдѣ и о мукѣ...

— Абрамъ, знаете ли, что я вамъ скажу? — тихо проговорилъ докторъ, продолжая глядѣть себѣ подъ ноги, на высохшіе, сбитые стебли колючекъ. — Товаръ вашъ... перенесли бы вы его ко мнѣ...

— Къ вамъ?.. Ахъ, да конечно! — и векрасивое, заросшее и хмурое лицо еврея на мгновеніе какъ будто просвѣтлѣло. — Федоръ Павловичъ, вы всегда были мой спаситель!..

«И какъ случилось, что я раньше не подумалъ объ этомъ, — мелькнуло у него. — Отъ горя и отъ страха такъ-таки потерялъ всякое соображеніе».

— Сейчасъ я иду въ больницу, — сказалъ Пасхаловъ, — а къ часу буду дома. Тогда и приходите... Къ часу, не раньше.

Послѣднія слова онъ сказалъ, подчеркивая, но понизивъ голосъ. У него явилось опасеніе, что если еврей явится въ его отсутствіе, Арина Петровна не впуститъ его и вышвырнетъ прочь товаръ...

— Хорошо! Чудесно!.. — оживился Абрамъ. — Таки послѣ часу... Весь товаръ прине-

су... въ нѣсколько разовъ, отдѣльными узлами... чтобы не замѣтили... А теперь побѣжу домой, посмотрю, что тамъ дѣлается.

Простившись, онъ торопливо ушелъ.

А Федоръ Павловичъ продолжалъ свой путь въ больницу, гдѣ служилъ ординаторомъ. Онъ скоро очутился въ еврейскомъ кварталѣ, на берегу смрадной гнѹющей рѣчушки. Въ обычное время здѣсь стояла суета и гамъ, грѣлись на солнцѣ больные старики, визжали и плакали дѣти, барахтаясь въ пыли, или расхаживая, засучивъ штанишки, задравъ рубашки, въ зеленыхъ лужахъ; галдѣли женщины, обмѣниваясь новостями или крикливой бранью. Стучали молотки ремесленниковъ, мычали голодныя козы. Теперь нигдѣ не видно было людей, не замѣчалось ни въ чемъ жизни. Все живое попряталось, притаилось, приникло въ ожиданіи жестокихъ часовъ, а домишки, темные, убогіе, несчастные, какъ и люди, которыхъ они пріютили, глядѣли такъ сумрачно, и такъ уныло, съ такой глубокой, беспомощной скорбью, что, казалось, никогда не свѣтило здѣсь солнце, и вѣчно царила бѣда.

# IV

## 1.

**А**брамъ былъ тщедушный, сутулый, почти горбатый человекъ, и лицо имѣлъ нездоровое и некрасивое. Носъ у него былъ длинный, узкій и нѣсколько кривой, глаза черезчуръ большіе и сильно выпуклые, а уши странно широкія и плоскія. Круглая, необыкновенно густая и жесткая борода облѣпила его щеки и скулы, и доходила почти до самыхъ глазъ. Когда-то борода была огненная, теперь, отъ обилія сѣдыхъ волосъ, она посвѣтлѣла, посѣрѣла и цвѣтомъ напоминала свѣжія отруби. Похоже было, будто намазалъ себѣ Абрамъ лицо чѣмъ-то клейкимъ, медомъ или тѣстомъ, и потомъ ткнулъ лицомъ въ мѣшокъ съ отрубями... По несимметричному, хилому тѣлу, по всѣмъ жестамъ Абрама, нерѣшительнымъ, пугливымъ, по разбитому, глухому голосу его, было видно, что онъ много терпѣлъ и страдалъ, и что еще въ утробѣ матери онъ пораженъ былъ злымъ худосочиемъ, мѣшавшимъ расти и развиваться... Въ глазахъ его, мутно-карихъ, чуть-чуть

косившихъ, было столько скорби, столько тяжелой печали и унынія, что, думалось, все горе живое, всѣ муки людей узналъ и пережилъ этотъ человѣкъ...

Съ докторомъ Пасхаловымъ Абрамъ былъ знакомъ чуть не съ самаго появленія своего въ городкѣ. Появился же онъ лѣтъ двадцать назадъ. Онъ пріѣхалъ изъ маленькаго мѣстечка Каменецъ-Подольской губерніи, откуда выгнало его медленное и вѣрное умираніе голодной смертью. На родинѣ Абрамъ былъ крошилщикомъ табаку, мыловаромъ — и немножко пѣвцомъ: на Пасху и осенніе праздники онъ за два съ полтивой подпѣвалъ синагогальному кантору. Здѣсь онъ сдѣлался сапожникомъ.

Но сапожникъ онъ былъ плохой. И онъ не только не могъ шить новую обувь, но и починку сколько нибудь сносную не въ состояніи былъ сдѣлать. Новому ремеслу учился онъ у голода и безработицы. И все же осенью и зимой дѣла его шли недурно: было много починокъ. Весною благополучіе начало увядать, а лѣтомъ исчезло совершенно. Къ отсутствію подошвъ, къ разверстымъ носкамъ

мъ сапога значительная часть населенія относилась въ теплые дни съ такой желѣзной невозмутимостью, что оправдать существованіе въ городкѣ «латыжника» не представлялось никакой возможности.

Въ лѣтніе мѣсяцы, вслѣдствіе этого, Абрамъ дѣлался лишнимъ человѣкомъ. И дѣлаясь лишнимъ человѣкомъ, онъ превращался въ негоціанта. Бралъ въ руки длинную палку, перебрасывалъ черезъ плечо мѣшокъ и отправлялся гулять по городу.

Въ мертвые, знойные дни, когда городокъ погружался въ безмолвіе соннаго млѣнія, и носились въ немъ, по землѣ и надъ домами, желтыя тучи горячей пыли, унылый и разслабленный бродилъ онъ по улицамъ, съ утра и до вечера, постукивалъ палкой въ заросшія калачиками и крапивой ворота; и подъ злобный лай разбуженныхъ собакъ, хрипло и съ опаской, вытягивалъ:

— Старррр'вещь п'кпаемъ!

И часто изъ-за запертыхъ воротъ доносился лѣнивый отвѣтный голосъ:

— А новыя крадемъ... Ступай, ступай отсюда, Иродъ, — маршъ!

Эту свою торговую дѣятельность Абрамъ очень не любилъ. У него совсѣмъ не было тѣхъ универсальныхъ познаній въ товаровѣдѣніи, которыя необходимы каждому уважающему себя старьевщику... Въ сапогахъ онъ толкъ зналъ. Сапоги уму его говорили ясно и внятно. Окинетъ онъ сапогъ пронизательнымъ окомъ, пальцемъ въ одно-другое мѣсто ткнетъ — и готово!.. Всѣ достоинства, всѣ изъяны товара опредѣлены точно и правильно, и правильно опредѣлена стоимость его. Ошибки не будетъ. А ружье съ отломаннымъ дуломъ, тетради нотъ, аппаратъ для выдѣлки сельтерской воды, или отъ треуголки футляръ... какъ тутъ во всемъ этомъ разберешься?

И стоитъ, бывало, негоціантъ Абрамъ, розовый, атласный корсетъ въ глубокомъ раздумьѣ туда-сюда вертитъ, и никакъ не можетъ рѣшить: грошъ этому инструменту цѣна, или же, напротивъ того, и цѣлый полтинникъ за него отдавши, все еще гривенникъ барыша на товаръ наживешь.

— Прямо несчастье, — кряхтѣлъ онъ, запутавшись въ какой-нибудь предательской

сдѣлкѣ: — я знаю!.. Тутъ надо имѣть голову министра.

И ждалъ онъ, ждалъ съ нетерпѣніемъ и тоской, осенней слякоти и холодовъ, ждалъ свѣтлой поры, когда бѣганію босикомъ настанетъ конецъ, когда подъ оголенной, намокшей акаціей у ветхой синагоги снова можно будетъ установить вѣрную табуретку верстачекъ, и когда изъ многочисленныхъ, кривыхъ, вросшихъ въ землю домишекъ опять станутъ приносить въ нему изувѣченные сапоги и разваливающіяся на части калоши...

Такъ жилъ Абрамъ.

Такъ прожилъ онъ здѣсь два десятка лѣтъ. Но съ недавняго времени въ существованіи его произошла крупная переменна. Онъ превратился въ собственника, въ торговца, — въ настоящаго торговца, и сдѣлался владѣльцемъ большого и почтеннаго рундука, который биткомъ набитъ былъ великолѣпнымъ товаромъ.

Вотъ какъ это произошло.

## 2.

Въ городъ, для постояннаго жительства, вернулся только что окончившій универси-

тетъ Пасхаловъ.

Много лѣтъ назадъ, въ прогимназіи, онъ учился вмѣстѣ съ сыномъ Абрама, рыженькимъ, веснучатымъ, зеленолицымъ Мосейкой, и дружба у обоихъ мальчишекъ была удивительная. Въ классѣ они всегда сидѣли рядышкомъ, на переменахъ не разлучались, вмѣстѣ и завтракали, и играли, а послѣ уроковъ каждый день бѣгали другъ къ другу въ гости, — хоть и жили на разныхъ и очень отдаленныхъ концахъ города: Пасхаловъ — въ лучшемъ кварталѣ, «на горѣ», въ большомъ и красивомъ, утопавшемъ среди огромнаго сада, церковномъ домѣ, Мосейка — на бѣдной окраинѣ, въ жалкой хибаркѣ, подлѣ широкаго, никогда не просыхавшаго, смраднаго и гнилого болота.

Мосейка былъ мальчикъ старательный, исполнительный, работающій, — хоть работы онъ и не любилъ, — и при весьма посредственныхъ способностяхъ, шелъ всегда первымъ. Пасхаловъ же весь пылъ и всѣ силы своей одиннадцатилѣтней души отдавалъ такимъ дѣламъ, какъ плаваніе, пускакіе змѣевъ, ловля раковъ и т. д. Въ чахломъ, по-



луживомъ и всегда необычайно серьезномъ другъ своемъ онъ, какъ могъ, старался вызвать интересъ къ своимъ предпріятіямъ.

... - Мосейка, на, возьми мои коньки!.. Мнѣ дядя Анатолій другіе купить, настоящей полу-галифаксъ!.. Только, говорить, чтобы въ четверти не больше одной двойки было. Бери!..

... - Скорѣй, Мосейка, побѣжимъ! — требуетъ онъ въ другой разъ. — Я на рѣчкѣ, въ камышахъ, жабы яйца нашель... здоровячі!.. въ крапушкахъ... Побѣжимъ!..

— Жабы яицъ не кладутъ, — спокойно, дѣловито и не торопясь замѣчаетъ Мосейка.

— Кладутъ, ей-Богу кладутъ!.. Вотъ увидишь самъ!..

Шустрый Пасхаловъ весь горитъ отъ нетерпѣнія, онъ вырываетъ изъ рукъ Мосейки книжки, нахлобучиваетъ ему на голову фуражку... Но — серьезный человекъ, — Мосейка фуражку снимаетъ и медлительнымъ тономъ говоритъ, что у него «полторы задачи» еще не переписаны.

И только когда всѣ уроки сдѣланы, тщательно аккуратно, пойдетъ Мосейка съ товарищемъ за «здоровячими» жабыими яйцами,

и по другимъ подобнымъ дѣламъ.

Эта дружба, — «дружба лапсердака съ паникадиломъ», — служила предметомъ постоянныхъ шутокъ не только для товарищей-гимназистовъ, но и для самого Николая Ивановича, инспектора. Николай Ивановичъ, въ сатирическихъ упражненіяхъ на счетъ чахлаго Мосейки, силу проявлялъ чисто щедринскую. Передъ такой силой наленькій Пасхаловъ, скрѣпя сердце пассивалъ, но съ гимназистами, какъ бы велико ихъ юмористическое дарованіе ни было, кулакъ его справлялся довольно успѣшно.

Мосейка, когда былъ въ четвертомъ классѣ, заболѣлъ злокачественной лихорадкой и умеръ. Смерть эта, «несправедливая смерть», произвела на Пасхалова огромное впечатлѣніе. Она разбудила въ немъ мысль и встревожила сердце.

... Тихо колыхались черныя носилки съ маленькимъ тѣломъ, скорбно молился за упокой души сѣденькій канторъ съ блѣднымъ лицомъ, дождь моросилъ, и смоченные имъ, убитые и жалкіе, шли Абрамъ и Хана.

И причитанія ихъ бились такъ горестно,

такъ страшно, и такъ безумно дрожали среди нихъ рыданія Пасхалова...

Нѣтъ Мосейки, нѣтъ Мосейки...

Окончится день, и ночь наступитъ, другой потомъ начнется день, и снова будетъ ночь, много ихъ будетъ и ночей, и дней; много новыхъ дней, солнечныхъ, радостныхъ, добрыхъ; и ночей такъ будетъ много, теплыхъ, глубокихъ, ароматомъ весны и тихою тьмой напоенныхъ ночей, — все это будетъ, все это будетъ, и слезы будутъ, и смѣхъ, и страданіе, и радость, будетъ все, будетъ все, — но не будетъ Мосейки...

Гдѣ же Мосейка?.. Гдѣ улыбка его, звукъ его голоса, блескъ грустныхъ, задумчивыхъ глазъ?..

Тамъ? Вверху? Въ небѣ?..

Пусто небо, небо пусто...

Отчего смерть? Отчего умеръ Мосейка? Отчего былъ онъ такой печальный и слабый? И отчего у него не было своихъ коньковъ? Отчего жилъ онъ на смрадномъ болотѣ, гдѣ лихорадка? Отчего говорятъ «жидъ пархатый»? Отчего говорятъ «мужицкое хайло»? И отчего лицо у мужика и на самомъ дѣлѣ грубое и не

приятное, а не такое, какъ у отца благочиннаго, или у инспектора Николая Ивановича?

Къ пусканію змѣевъ, къ катанью на конькахъ мальчикъ сталъ охладѣвать. Книга звала, томила мысль.

Бойкій, веселый, беззаботный шалунъ мальчикъ сталъ превращаться въ юношу, вдумчиваго, трепетно-ищущаго.

### 3.

Къ Абраму Федоръ Павловичъ не переставалъ питать доброе, теплое чувство. И когда студентомъ прїѣзжалъ домой, всегда заходилъ къ сапожнику повидаться и поговорить. Говорили о печаляхъ жизни, о тяготахъ ея, о сумракѣ и боли существованія. Рыжій сапожникъ гулко постукивалъ кривымъ молоткомъ по подошвѣ зажатаго межъ колѣнями сапога, торопливымъ движеніемъ рукъ вытягивалъ въ обѣ стороны длинную дратву, а гость смотрѣлъ на него глазами грустными, какими-то далекими, и говоря о другомъ, думалъ о Мосейкѣ. И всегда онъ былъ печаленъ, и всегда тосковалъ. И когда разгорался споръ, голова стараго, тщедушнаго, измученнаго сапожника звучалъ бодрѣе и съ большей вѣрой,

чьмъ рѣчи молодого студента...

Жизнь Пасхалову представлялась страш-  
ной и темной, полной пугающихъ тайнъ и  
жестокой неправды. И такой казалась  
неправда всевластной и непобѣдимой, что  
выхода изъ нея онъ не видѣлъ. Онъ вступилъ  
съ ней въ борьбу, пошелъ по революціонной  
дорогѣ, на ней потерялъ свободу, и очутился  
въ Колымскѣ... Оттуда привезъ ревматизмъ,  
первые симптомы болѣзни сердца, и тоску и  
безвѣріе, еще болѣе глубокія...

Когда случалось ему проходить по нищему  
еврейскому кварталу, на краю гнилого боло-  
та, или когда сидѣлъ онъ въ смрадной ко-  
моркѣ стараго сапожника и слушалъ его  
странныя рѣчи, — о Богѣ, о правдѣ, о борьбѣ,  
рѣчи, такъ сильно напоминавшія юношескія  
вдохновенія сестры Натальи, — еще темнѣе  
становилось въ его душѣ, еще больше охваты-  
вало его смущеніе, онъ терялся окончательно,  
и уже совсѣмъ переставалъ понимать, какъ  
могутъ люди жить — жить и вѣрять, — когда  
мука такъ безумно велика, когда длится му-  
ка такъ безумно долго, когда и далекимъ  
отсвѣтомъ правды ни на мигъ не озарятся

ихъ дни... Стоны, слезы, жертвы безкровныя, жертвы кровавыя, — за что?.. И если все-таки волнуешь мысль о небѣ, объ его законѣ и свѣтлыхъ призывахъ, то что же это: милость безмѣрная, приносящая свѣтъ облегченія, или, напротивъ того, злое проклятiе, которое лишнія борозды горечи выжигаетъ въ истерзанномъ мукою сердцѣ?..

Въ прошломъ году Федоръ Павловичъ пріѣхалъ въ родной городъ, уже врачомъ, чтобы въ больницѣ занять мѣсто ординатора. По обыкновенію, онъ пошелъ повидаться съ Абрамомъ, и изъ разговоровъ съ нимъ случайно узналъ, что тотъ думаетъ свою дочь сдѣлать врачомъ.

— Что, у ней плохія способности?.. — горделиво щурясь, съ задоромъ спросилъ сапожникъ. — Хороши плохія, когда всегда съ первой наградой... «Герои Греціи»! торжественно поднялъ онъ кверху указательный палець. — Въ кожаномъ переплетѣ, «Герои Греціи»!.. И всѣ учителя подписались. И вашъ папаша тоже подписался: «законоучитель, протоіерей Павелъ Пасхаловъ»...

Федоръ Павловичъ освѣдомился, гдѣ Абра-

мъ возьметъ средства и сапожникъ объяснилъ, что у него «есть планъ». Нуженъ основной капиталъ, онъ уже обращался за ссудой къ аптекарю Померанчику, который доводится «роднымъ шуриномъ» больной Ханѣ. Но Померанчикъ — «вы же сами знаете, какой аристократъ и свинья», — Померанчикъ отказалъ. Онъ даже не хочетъ признаваться, что онъ еврей, и Абрама выгналъ вонъ. Однако, все это ничего, деньгами можетъ быть согласится ссудить ростовщикъ Цыпоркесъ.

— Ссудить-то онъ ссудить, но всѣ соки изъ васъ высосеть, — замѣтилъ Пасхаловъ.

Подумавъ, онъ прибавилъ, что теперь у него денегъ нѣтъ совсѣмъ, и онъ у матери беретъ на папиросы. Но вотъ, скоро онъ получитъ мѣсто, и тогда наладить торговлю Абрама будетъ очень легко, онъ поможетъ.

... Въ началѣ осени башмачный рядъ обогатился новымъ архитектурнымъ украшеніемъ, — тѣмъ самымъ огромнымъ сѣрымъ рундукомъ съ бѣлыми и красными рейками, который Абрамъ оглядывалъ сегодня и ощупывалъ съ такой тоской и страхомъ...

Въ періодъ безработицы сапожникъ обошелъ весь городъ, навѣстиль и прилегающія къ нему деревни и накупилъ тамъ цѣлую гору рваной обуви. Всю ее починилъ, подновилъ, смазалъ дегтемъ, рыбьимъ жиромъ, и съ большимъ вкусомъ размѣстиль на полкахъ вертикально устанавливавшейся крышки рундука. Дѣло пошло. «Магазинъ» Абрама, гдѣ по очень пріятной цѣнѣ можно было пріобрѣсти «самый подходящій, почти совсѣмъ новый и замѣчательно прочный обувъ», отвѣтиль, какъ оказалось, живой и настоящей потребности, и въ короткое время обратилъ на себя участливое вниманіе весьма многочисленной публики.

Жизнь Абрама съ этой поры пошла совсѣмъ по иному и онъ чувствовалъ себя однимъ изъ счастливѣйшихъ гражданъ города и государства.

— Это ради Розочки послалъ мнѣ Богъ такое счастье, — съ горячностью, убѣжденно поясняль онъ Пасхалову. — Вѣдь, посмотрите сами: задумаль я ее учить, и аккуратъ сейчасъ пришло мнѣ въ голову открыть торговлю... Двадцать же лѣтъ я хожу около сапогъ, — и



только починилъ. А чтобы торговать обуво-  
мъ, я догадался только теперь... Потомъ Гос-  
подь мнѣ васъ послалъ, и вы дали мнѣ по-  
мочь... Это не для меня, это все для Розочки  
Богъ дѣлаеть!

И таинственнымъ, внушительнымъ шопо-  
томъ онъ прибавлялъ:

— Бо Розочку Богъ любитъ... И таки оттого  
у ней на рукѣ шесть пальцевъ.

— Пальцы тутъ при чемъ?

— А такъ, знаете, люди говорятъ, — и може  
оно такъ гдѣ-нибудь и написано, — что если  
у кого шесть пальцевъ, такъ это человѣкъ  
счастливый... Да теперь это же и видно! Богъ  
ей поможетъ. Ее Богъ любитъ. И ужъ Розочка  
будеть счастливая, а не будетъ терпѣть такія  
униженія и голодъ, какъ ея родители!

**В**ъ больничномъ дворѣ было подобіе сада. Красивую деревянную рѣшетку, которою онъ нѣкогда былъ обнесенъ, растаскали давно, и теперь отъ нея оставалось только нѣсколько расшатанныхъ столбиковъ. За столбиками стояли огромныя, старыя акаціи, два-три клена и тянулся длинный рядъ роскошныхъ кустовъ сирени. О разореніи этихъ кустовъ не мало заботились и люди, и принадлежавшія имъ домашнія животныя, — куры, кони, козы, — но буйнаго роста сирени ничто остановить не могло, и она пышно раздалась и вверхъ и внизъ. Лѣтомъ, когда она одѣвалась сочной листвою, кусты образовывали плотную, толстую изгородь, сквозь которую ничего нельзя было разглядѣть. Теперь листья были желты, умирали, многіе лежали уже на землѣ, и сквозь густой переплетъ оголившихся тонкихъ вѣтвей было видно, какъ у прачешной, на солнцѣ, грѣется кучка больныхъ.

Высокій, молодой человекъ, костлявый, съ

интеллигентнымъ лицомъ, съ длинной шей и узкимъ носомъ, сидѣлъ на перерѣзѣ, свѣсивъ ноги, и сумрачно глядя на свои холщевые чулки, на огромныя, аляповатыя туфли, какія бываютъ только въ больницахъ, глухимъ, однотоннымъ голосомъ, точно упрямо дразня кого-то, гудѣлъ:

— А не выпишутъ... А вотъ увидите, что не выпишутъ... Не выпишутъ...

И въ отвѣтъ на эти слова брюхатый, съ вздутыми, бѣлыми какъ тѣсто щеками, кудрявый и тщательно расчесанный буфетчикъ Стрункинъ, въ радостномъ раздраженіи, скороговоркой взвизгивалъ:

— Да отчего жъ не выпишутъ, я бы радый знать, отчего?

— Говорю — не выпишутъ, — и не выпишутъ.

— Много очень воображаете себѣ!.. Вотъ хоть и служите контролеромъ, ну понятія никакого нѣту.

Стрункинъ широко разставилъ ноги, подбоченился, и оба толстыхъ пальца засунулъ за поясокъ халата. Поясокъ отъ этого оттянулся квису, и толстое брюхо буфетчика, и

широкій, круглый, какъ у женщины, тазъ его обрисовывались четко, выпукло.

— Не выпишутъ, — коротко, отрывисто, точно лая, повторилъ контролеръ, тихо шевеля лѣвой догой и угрюмо слѣдя за движеніемъ ея тѣни на клепкахъ перерѣза.

— Еще какъ выпишутъ!

Стрункинъ презрительно отвернулся. И адресуясь къ другимъ больнымъ, продолжалъ:

— Сколько угодно выпишутъ... Сдѣлайте ваше одолженіе!

Подошелъ сѣдобородый старичокъ. Онъ былъ такой тощій, маленькій и измученный, что сзади его можно было бы принять за мальчика. Лицо у него было узенькое, все изсѣченное рѣзкими морщинами, а цвѣтомъ, желтовато-сѣрымъ, оно походило на тѣ умершіе листья сирени, которые толстой пеленой лежали у кустовъ. Подъ лѣвымъ ухомъ у старика выступала огромная раковая опухоль. Она внѣдрилась очень глубоко, захватила и горло, и потому голосъ больного звучалъ хрипло, гнусаво.

— А на что ему выписываться? — спросилъ старикъ.

— Какъ на что?.. — Стрункинъ быстро, точно его сзади дернули, обернулся къ старику. — Думаешь, Спиридонычъ, какъ ты вотъ до больвицкаго харчу привалился, и, никакъ тебя отъ него не отдерешь, такъ вродѣ тебя всѣ?

— «Больницкій харчъ», — съ напряженіемъ прохрипѣлъ Спиридовычъ. — Чудило!.. Мнѣ на землѣ одна недѣля ходу осталась, а ты «харчъ»!

Стрункинъ скорчилъ вдругъ рѣзкую гримасу и сталъ фыркать носомъ: когда старикъ говорилъ, изо рта его, изъ разѣденнаго болѣзнью гнилого горла, вырывался такой отвратительный, густой смрадъ, что, казалось, лежитъ тамъ и шевелится давно ужъ разложившаяся, липкая падаля...

— А его не выпишутъ!.. — не мѣняя лающего тона и не отрывая хмурыхъ глазъ отъ медленно качавшихся на кончикѣ пальцевъ туфель, проворчалъ контролеръ. Стрункинъ на него и не взглянулъ.

— Лежитъ тутъ кольки времени, поправился вполнѣ, — говорилъ онъ, обращаясь къ Спиридонычу и къ тѣмъ, кто стоялъ подлѣ

него:- ну главная причина, жидовъ непременно будутъ бить, распоряженіе есть, — чего жъ ему здѣсь сидѣть?

— Ты читаль распоряженіе? — спросилъ изъ-за спины Спиридоныча щекастый, рябой парень.

— Читаль. И тебѣ, дураку, прочитаю! Подъ подушкой у меня три военныя прокламаціи, сейчасъ могу дать... Въ военномъ штабѣ и напечатаны. Потому, какъ соборъ жиды взорвали въ Москвѣ, и есть у нихъ теперь общество такое, такъ и называется «Бунтъ», противъ всѣхъ чтобы бунтовать. Само начальство уже не поладить съ ими, и разрѣшено истреблять. Сейчасъ по всѣхъ городахъ ихъ рѣжутъ!

— Пойдешь жида бить, а между прочимъ самого въ арестантскія роты закутаютъ, — лѣнливо проговорилъ щекастый паревъ, стоявшій въ сторонкѣ, прислонясь къ стѣнѣ. И лицо его сдѣлалось скучнымъ и хмурымъ.

— Да какимъ же способомъ закутаютъ, овечья ты голова? Какимъ? Когда штабсь-капитанъ Тугариновъ самъ все дѣло строить. Да надзиратель Конопатный... Вчерашняго чис-

ла до меня Ванька-пѣвчій приходилъ провѣдать, который чемоданщикъ, который съ Херсону...

— Съ Аксюткой который?..

— Ну да, этотъ самый, съ Аксюткой... Такъ рассказывалъ: собралъ штабсъ-капитанъ народъ, и все чисто объясняетъ. Кому леворверъ, кому ножъ, или дубинку...

— А Конопатный?..

— И Конопатный... Смѣло, говоритъ, жидовъ рѣжь, они противъ Россіи и манифестъ жидовскій выпустили. Свободы себѣ хотятъ, чтобы грабить свободно было.

— Жидъ, — онъ тебѣ всегда до безпокойства охотникъ, — угрюмо процѣдилъ щекастый парень. — Газета у него, пѣсни поетъ... разговоры... Ты молчи! — злобно вскрикнулъ онъ, вдругъ отдѣляясь отъ стѣны. — Я можетъ лучше тебя знаю, какъ мнѣ съ голодухи брюхо разворачиваетъ, да какъ меня по мордѣ стучаютъ. Ну ты, жидюга, молчи!.. Не безпокой ты меня.

И снова привалился спиной къ ярко освѣщенной стѣнѣ.

Стрункинъ, хромая, сдѣлалъ нѣсколько

шаговъ, и лицо его искажилось гримасой острой боли. Обѣими руками онъ схватился за нижнюю часть живота...

— Эхъ, да и... — онъ выругался длинной матерной бранью. — Совсѣмъ я безъ движенія сдѣлался... А какъ бы не испортила мнѣ болѣзнь галопу моего, — сейчасъ и бы первымъ до Конопатнаго кинулся.

— А грѣхъ вѣдь это, — отозвался Спиридонычъ.

— Жида рѣзать?.. Эхха!.. Грѣховъ, дѣдушка, все равно уже много накопили, черезъ торбу сыплется. Хошь теперь ты цѣльный день молись, да поклоны клади, все равно рядомъ съ Богомъ на томъ свѣтѣ не посадятъ.

— Грѣхъ, когда одного, — опять отозвался щекастый парень, — а съ полсотни ежели по башкѣ тарарахнутъ такъ это въ самый разъ... Ой мамене, — ой татене! амишигине, нападеніе!.. — подражая дѣтскому голосу, взвизгнулъ онъ вдругъ и громко разсмѣялся; и широкія рябья щеки его при этомъ такъ и запрыгали и затряслись.

Почему смѣялся, и что собственно означали сказанныя имъ слова, не понималъ онъ



самъ, и не знали собесѣдники. Но смѣхъ его былъ такой веселый и раскатистый, и на душѣ у всѣхъ было такъ пріятно и солнечно, что хоромъ расхохотались и другіе. А восхищенный Стрункинъ въ непобѣдимомъ приливѣ отеческой ласковости «смазаль» вдругъ парня ладонью по головѣ, по бѣлому полотняному колпаку, и лихо трянувъ кудрями, поощрительно сказалъ:

— Ну стерва же и скажетъ же!.. Всегда вѣдь скажетъ!..

И потомъ, когда смѣхъ прекратился, понизивъ голосъ и мечтательно уставившись вдаль, онъ протянулъ:

— Добра сколько наберешь... И одежи, и часовъ, и разныхъ разностей... На всю жизнь поправиться можно

— А можетъ и не грѣхъ, — нерѣшительно, задумчиво, и какъ бы про себя, пробормоталъ Спиридонычъ, обдавая всѣхъ новою волною запаха падали. — Христа вѣдь они распяли.

— Этого я, ежели желаете знать, и не видалъ, — визгливо подхватилъ Стрункинъ: — ну только, если могу я при безпорядкѣ большую выгоду себѣ имѣть, такъ что тамъ, ей-Бо-

гу, «грѣхъ, грѣхъ»...

— Противъ царя они, противъ начальства...

— И это мнѣ тоже безъ надобности!.. Нехай ему чортъ, твоему и начальству. Овца волку не заступникъ. А главная причина, что погулять можно даже очень хорошо.

— А его не выпишутъ, — мрачно, со злобой процѣдилъ контролеръ.

Стрункинъ быстро повернулся и оглядѣвъ его съ выраженіемъ брезгливаго нетерпѣнія, нараспѣвъ и какъ-то особенно вразумительно, сказалъ:

— Ну и чего вы причепились? скажите вы мнѣ ради Бога! Думаете, люди не понимаютъ?.. Завидки берутъ, что самому на погромъ нельзя, вы и гавчете, какъ собака злая... Нехорошо-жъ это! — отцовски-наставительно добавилъ онъ:- человекъ погулять желаетъ, хотится ему въ погромъ свое участіе принять, ну и пускай! Чего вькать?..

— Самъ не могу, такъ и другому не хочу, — подмигнулъ щекастый парень.

— А я вотъ, видите, ужъ не такъ, — благо-родно пріосанившись, съ какимъ-то женски-

мъ жеманствомъ объявилъ Стрункинъ:— у меня, знаете, такой характеръ, что пускай мнѣ и ничего не будетъ, пускай мое потерпитъ, ну другому, — онъ поднялъ кверху указательный палецъ и секунду помолчалъ, — другому дай Богъ всегда хорошаго!

Контролеръ съ ненавистью оглядѣлъ собесѣдниковъ. Стрункинъ — хорошій психологъ — совершенно правильно разгадалъ тайныя пружины, двигавшія этимъ «не выпишутъ». Разоблаченный контролеръ былъ золь, чувствовалъ себя сбитымъ, сраженнымъ, и споръ продолжать уже не хотѣлъ.

— Докторъ вонъ онъ стоитъ, — проворчалъ онъ сквозь зубы и тихо сползъ съ перерѣза.

Больные встрепенулись. Всѣ быстро повернули головы къ кустамъ, за которыми, прислушиваясь къ разговору, стоялъ Пасхаловъ. И потомъ, толкая другъ друга и торопясь, направились въ палаты. Стрункинъ тащился позади всѣхъ, хромалъ, тяжело переваливался съ ноги на ногу, и правой рукой поддерживалъ свой вислый, больной животъ. При каждомъ шагѣ онъ съ шумомъ втягивалъ сквозь

зубы воздухъ, — точно пилъ очень горячій чай, — и на припухшее, дряблѣе, бѣлое, какъ тѣсто, лицо его лежало выраженіе рѣжущей боли.

— Терпѣть не люблю, когда кто прохвостъ, — послалъ онъ вдогонку контролеру.

## 2.

Федоръ Павловичъ по дливному, прямому корридорѣ прошелъ въ больничнѣй кабинетъ, большую, высокую и очень опрятную комнату. Стѣны ея были выкрашены въ сизоватѣй цвѣтъ, и наверху, гдѣ нависалъ бѣлый карнизъ, шла узкая синяя полоска. Противъ большого продолговатаго стола, близко у окна, стояла желѣзная койка съ двумя тощими подушками, съ бѣлымъ клеенчатымъ покрываломъ. Надъ ней, на полукруглой полочкѣ, висѣла большая бутылъ съ сулемой; резиновая кишка съ чернымъ наконечникомъ-краномъ, вдѣланная въ бутылъ, падала прямо внизъ, глянцевиная чернота наконечника рѣзко выдѣлялась на бѣлизнѣ клеенки, и казалось, что это сползаетъ молодая змѣя съ черной головой...

Въ этотъ кабинетъ приходили «перевязоч-

ные», садились или ложились на койку, имъ дѣлали разрѣзы, прижиганія, уколы, промывали сулемой раны и мѣняли перевязки. Все здѣсь было очень чисто, блестяло и сіяло, но впечатлѣніе отъ комнаты было безрадостное, тревожное. Что-то подозрительное и отталкивающее было въ чрезмѣрной чистотѣ пола, мысли объ ехидномъ предательствѣ рождала сверкающая, съ виду такая милая, бѣлизна подушекъ на койкѣ, и самый солнечный свѣтъ, обильно вливавшійся въ широкія окна, казался недобрымъ, фальшивымъ, а яркіе блики его на стеклѣ и на металлѣ инструментовъ были какъ застывшія вскрикиванья больного...

«Тарарахнутъ полсотни по башкѣ,- думалъ Федоръ Павловичъ, уставившись на бутылъ съ сулемой. — Какъ все это просто... удивительно просто!..»

Пасхаловъ давно уже, и много разъ, спрашивалъ себя, какъ можетъ превратиться въ громилу мирный и безобидный обыватель, въ обычной жизни своей такъ мало похожій на убійцу и грабителя... Вотъ Трохимъ, подворотній въ больницѣ, или церковный

сторожь Панченко, или звонарь Артамонычъ, или Акимъ Лаврентьевичъ, фельдшеръ... Люди смирные, спокойные, даже, пожалуй, кроткіе, — а придетъ моментъ, станутъ грабить, ломать, уничтожать чужой, потомъ и кровью добытый скарбъ, станутъ избивать... Что-то дикое, невѣроятное, совершенно неправдоподобное. И если бы не было цѣлыхъ десятилѣтій страшнаго опыта, не повѣрилъ бы онъ этому, не повѣрилъ бы ни за что, какъ не повѣрилъ бы, что человекъ можетъ обратиться въ пантеру, въ ястреба голубь...

Пытался онъ заговорить о погромахъ со звонаремъ Артамонычемъ, съ фельдшеромъ Небеснымъ, но разговоръ выходилъ неловкій, натянутый, и собесѣдники его сразу становились скрытными, неискренними, прямо лживыми. Федоръ Павловичъ вообще не умѣлъ вести «умышленный» разговоръ, и оттого, въ періодъ своей революціонной дѣятельности, никогда не занимался агитаціей въ народъ... И ужъ больше о погромахъ, и вообще объ евреяхъ Пасхаловъ въ эти дни не говорилъ... Выслушивать же, мимохо-

домъ, доводилось отъ разныхъ лицъ многое, и почти все, что слышалъ онъ, отличалось либо холоднымъ равнодушіемъ, либо безсердечностью, тупою дикостью и жестокостью, — и онъ отъ этого сильно волновался и страдалъ.

До сихъ поръ Федоръ Павловичъ не дѣлалъ никакого различія между двумя націями: евреи, русскіе, — это какъ два сорта вина, влитые въ одинъ бокаль. Теперь два твердыхъ предмета лежало рядомъ и не соприкасаясь. И себя онъ теперь русскимъ чувствовалъ особенно сильно, и когда душа его, отъ встававшихъ въ ней картинъ предстоящихъ ужасовъ, содрогалась особенно мучительно, въ немъ вспыхивала вдругъ мысль, что было бы легче, если бы онъ былъ нѣмцемъ, французомъ, туркомъ...

— Надо начинать, — подумалъ Пасхаловъ.

Онъ снялъ пиджакъ и галстукъ, и поверхъ жилета надѣлъ бѣлый, сильно пахнувшій хлоромъ халатъ.

— Надо позвать больныхъ, — опять сказалъ онъ себѣ. Но больныхъ не позвалъ... Что-то разсѣянно перебирая и разставляя въ шкафу,

онъ смотрѣлъ усталыми глазами въ окно и думалъ, — все о томъ, о прежаемъ...

И здѣсь, въ больницѣ, въ домѣ страданія и смерти, и здѣсь мечтаютъ о томъ, чтобы причинить страданія и смерть другимъ. «Тарарахнутъ по башкѣ... полсотни тарарахнутъ... это не грѣхъ»... И всѣ весело смѣются... И если бы Арина Петровна очутилась въ больничномъ дворѣ, она тоже смѣялась бы, вмѣстѣ со всѣми... «Когда бьютъ, значитъ есть за что», — говорила она вчера за обѣдомъ. — «Меня вотъ не бьютъ же»... Отецъ Павелъ смотрѣлъ на нее грустно, укоризненно качалъ головой, и обсыпая горячей кашей лежавшій передъ нимъ на синей тарелкѣ большой кусокъ масла, задумчиво говорилъ, что «сами же мы первые враги внутренняго спасенія нашего»...

— Понесъ уже!.. Ты ѣшь!

— Ну какъ ты, право, разсуждаешь — «ѣшь»... — запротестовалъ старикъ. — Господь вручаетъ духовному водителству моему паству...

— Вручаетъ, и слава Богу, — бросая косою, тревожный взглядъ на сына, и подавляя



раздраженіе, вскрикнула Арина Петровна.

О. Павелъ началъ доказывать, что «если вручена ему, какъ бы сказать, обширная и тернистая нива, для воздѣльванія коей требуется усиленное напряженіе физическихъ и душевныхъ силъ, и что ежели видны всюду скорби, и слышны воздыханія, то не въ правѣ развѣ онъ спросить: жестокая расправа съ иновѣрными, расхищеніе ихъ имущества и эти убійства не свидѣтельствуютъ ли о забвеніи мздовоздаятеля Бога, о попраніи заповѣдей и отсутствіи христіанскаго чувства?»

Глаза у о. Павла задумчиво-печальные, голось задушевный, трогательный, и отъ всей небольшой фигурки стараго священника вѣетъ блѣдною грустью, и наивною, тихою важностью...

А Ирина Петровна бросаетъ свою вилку на блюдо и, сверкнувъ глазами, вскрикиваетъ:

— И что ты такое плетешь, вотъ ужъ ей-Богу ни къ чему это!..

На Рождество купила Арина Петровна у еврейки пару индѣекъ, та давала сдачу и всучила оловянный полтинникъ. Больше мѣсяца

носиться съ нимъ пришлось, пока удалось наконецъ сплавить его стекольщику. Житья нѣту!.. Манифестъ, красные флаги, пѣсни по улицамъ орутъ... Свобода!.. Несвободно имъ въ Россіи, пусть идутъ гдѣ свободнѣе.

— И неразумную тварь жалѣть надо, — грустно говорилъ старикъ, — а тутъ по образу Божію...

Арина Петровна ужъ не возражаетъ. Лучше молчать. Скорѣе кончится... Она поджимаетъ губы и бросаетъ на мужа такой взглядъ, что каша его уже не лѣзетъ ему въ ротъ и начинаетъ сыпаться назадъ, на бороду...

... „Тарарахнутъ полсотни“, — мысленно повторялъ теперь Пасхаловъ, вспоминая разсужденія матери. — Арина Петровна сама не „тарарахнетъ“. Но если принестъ ей съ грома голову сахару, или шубу какую-нибудь, или новый коверъ — возьметъ...

Пасхаловъ подошелъ къ окну и открылъ его. Легкая, нѣжная прохлада обдала его лицо, точно молча коснулся его тоvkій шелкъ. Въ желтѣвшихъ кустахъ сирени пѣла одинокая птичка, и наивно, и печально звучали нехитрыя колѣна однообразной трели. Птички не

было видно, но почему-то казалось, что она непременно должна быть очень маленькой, что головка ея склонена набокъ, что круглымъ, темнымъ глазкомъ она смотритъ вверхъ, въ небо. Смотритъ въ небо и поетъ... Возлѣ прачешной, въ солнечной полосѣ, протянувъ впередъ мохнатыя лапы, грѣлся Дружокъ. Осеннія мухи надоѣдали ему, онъ досадливо морщилъ носъ, билъ себя хвостомъ и то и дѣло вскидывалъ кверху ушастую голову, стараясь изловить зубами летавшихъ въ воздухѣ обидчиць...

Когда взгляды Федора Павловича упали на Дружка, тихая улыбка заиграла вдругъ на яркихъ губахъ доктора. Вспомнилась исторія съ Кочетковымъ, гнавшимся за собакой, вспомнились ясные, голубые глаза мальчика и сдавленный стонъ его: „курицу жалко“...

— Эхъ ты, — тихо проговорилъ Пасхаловъ, весь затопленный внезапно нахлынувшимъ, милымъ, ласковымъ чувствомъ. — Курицу тебѣ жалко...

#### 4.

Вдали, въ глубинѣ корридора, слышались вдругъ чьи-то громкіе крики и частый

топотъ ногъ. Крики все приближались, и черезъ минуту въ дверяхъ кабинета показался фельдшеръ Небесный.

— Федоръ Павловичъ!.. Это жъ такъ невозможно... Это же настоящее разбойство такъ дѣлать!..

Бритое, толстое, аляповатое лицо фельдшера выражало глубокое, беспросвѣтное отчаяніе.

— Развѣ негативы мѣшаютъ!.. — плаксиво вопилъ Небесный. — Кому отъ нихъ препятствіе?.. А только онъ безобразіе дѣлаетъ... И я въдь его никогда не трогаю.

Всхлипывая, причитая, оправдываясь и защищаясь, призывая свидѣтелей, ссылаясь на очевидцевъ, Небесный кое-какъ рассказалъ про свою бѣду. Онъ снималъ семейство податного инспектора, при вспышкѣ магнія, снимки удались какъ нельзя лучше, — конечно, въ Петербургѣ, можетъ быть, и лучше сдѣлаютъ, только тоже не всякій, — негативы — шесть штукъ — были, какъ слѣдуетъ, промыты и поставлены для просушки на солнышкѣ, около прачешной, около стѣночки, а подворотній Трохимъ, такая подлюка, арестантъ, взялъ и

сапожищами на негативы и сталь. Нарочно на всѣ шесть...

— Всѣ стекла раздушилъ, — съ удовольствіемъ подтвердилъ кто-то изъ собравшихся у дверей больныхъ. И веселый смѣхъ покотился по корридору. — Раскрошилъ стекла, все равно, какъ махорку...

— Я скажу Трохиму, — заявилъ Пасхаловъ. — Позовите-ка перевязочныхъ.

Перевязочные — ихъ было человекъ двѣнадцать — стояли уже въ корридорѣ, за дверью. Услышавъ, что ихъ зовутъ, они вошли. Большинство было въ халатахъ, два-три человека въ одномъ бѣльѣ.

— Асвадуровъ, хотите первымъ? — спросилъ Пасхаловъ.

На койку сѣлъ высокаго роста человекъ, очень худой, очень черный, повидимому армянинъ. Вся голова его была обмотана бѣлыми бинтами и ватой и казалась странно-огромной. Онъ вѣроятно испытывалъ острую боль, — а можетъ быть только боялся, что боль придетъ, — и глаза его смотрѣли мрачно, а зубы были крѣпко стиснуты...

— Который младенецъ, которому три дня

отъ роду, куколка, и тотъ болѣть... Почему такъ?.. — говорилъ въ дверяхъ старикъ Спиридонычъ, наполняя кабинетъ густымъ смрадомъ падали.

— Потому какъ болѣзнь не разбираетъ, — поспѣшно объяснилъ Стрункинъ:— и до стараго она, и до малаго, и туды, и суды, скрозь ищетъ, скрозь пролазитъ...

— Бодрѣе, Асвадуровъ, — мягко, успокоительно говорилъ Федоръ Павловичъ, осторожно разматывая бинты на головѣ больного. — Не волнуйтесь такъ. Сегодня и промывать не стану, не будетъ больно... А вотъ и Тихонъ пришелъ, — съ дружелюбной улыбкой добавилъ онъ:— поможетъ мнѣ... Сегодня вамъ совсѣмъ не будетъ больно...

Въ кабинетъ, проталкиваясь между больными, вошелъ Кочетковъ. У него было широкое, скуластое, розовое лицо, синіе глаза и очень густые бѣлокурые волосы. Проборъ надъ лѣвымъ ухомъ разбивалъ ихъ блѣдно-золотистую массу на двѣ неровныя части: одна, меньшая, падала прямо книзу, прикрывая ухо до половины, другая шла наискось, черезъ лобъ, къ краю темной, бойко очерчен-

ной брови. Голова мальчика откннута была назадъ, и подъ широкимъ, сильнымъ подбородкомъ ласково бѣлѣла такая же сильная, еще свободная отъ кадыка, нѣсколько женственная шея.

— Здравствуй, Тихонъ, — привѣтствовалъ его Пасхаловъ. И точно лучъ прошелъ по лицу доктора. — Какъ дѣла?

— Дѣла ничего, слава Богу, — мило улыбаясь, отвѣчалъ мальчикъ.

— Тишкины дѣла отличныя, — отозвался кто-то изъ больныхъ.

Голосъ былъ веселый, дружелюбный, чувствовалось, что говорившій радъ за „Тишку“ и радъ заявить объ этомъ во всеуслышаніе.

— Будемъ дѣлать перевязки?

— А какъ же?.. Будемъ...

Федоръ Павловичъ любилъ пользоваться помощью Кочеткова. Направляя на рану струю сулемы, или бинтуя изъязвленную опухоль, Тихонъ выказывалъ такую изящную ловкость, столько нѣжной осторожности и любовнаго старанія, что даже фельдшеръ Небесный, весьма почтительно относившійся къ собственнымъ качествамъ и къ своему

умѣнью, охотно отдавалъ пальму первенства молодому сопернику, и не разъ мысленно говорилъ себѣ, что хорошо бы его сфотографировать, — „сейчасъ, вотъ, какъ онъ Степанчуку нарывъ прижигаетъ“... Тихонъ, нагнувшись къ ранѣ, осторожно, но рѣшительно и быстро счищаетъ съ нея зеленоватый гной, нажимаетъ на нее мокрой ватой; больной отъ боли весь корчится, вздрагиваетъ, и зубы у него стиснуты. Онъ стонетъ, а иногда кричитъ, ругается. Тихонъ ласково, нѣжно, какъ-то совсѣмъ по матерински, его успокаиваетъ, утѣшаетъ, говоритъ смѣшныя слова, — и дѣло свое продолжаетъ, — смѣло, проворно, ловко...

— Чудесный вышелъ бы хирургъ, — останавливая на мальчикѣ задумчивый, любовный взглядъ, мысленно говорилъ себѣ Пасхаловъ. — И какая это вообще славная, даровитая натура.

... Кочетковъ взялъ въ руки большой тазъ, нераспечатанную пачку гигроскопической ваты и приблизился къ Асвадурову.

— А вѣдь скоро тебѣ на выписку, — сказалъ Пасхаловъ мальчику. И тотчасъ же поду-



маль, что скучно станетъ здѣсь безъ Тихона... Неужели же такъ и отпустить его? А почему бы собственно не продолжать съ нимъ встрѣчаться, почему бы не заняться имъ, не сдѣлать что-нибудь изъ него?

— Я, Федоръ Павловичъ, на выписку сегодня хочу проситься.

— Какъ, уже?.. Чего жъ вдругъ?

— Да такъ. — Тихонъ улыбнулся той открытой, свѣтлой улыбкой, которая такъ нравилась Федору Павловичу. Верхній рядъ прекрасныхъ, крупныхъ зубовъ его слегка нажалъ нижнюю губу, а на щекахъ широко раздвинувшихся по сторонамъ, обозначились двѣ продолговатыя, неглубокія ямочки.

— И агитаторъ, братъ, изъ тебя тоже отличный вышелъ бы, — улыбаясь подумалъ Пасхаловъ...

Кочетковъ былъ общимъ любимцемъ всей больницы. Его баловали здѣсь и нѣжили, — какъ балуютъ младшаго въ семьѣ, — и въ то же время очень уважали. Съ нимъ любили болтать, любили и пугать его, дразнить, шутливо теребить за чубъ, и всѣ разговоры съ нимъ, и всѣ поступки по

отношенію къ нему пропитаны были какою-то особенной лаской и добротою. Когда онъ лежалъ съ залитой въ гипсъ ногой, около койки его сходились больные. Мальчикъ былъ блѣденъ, сильно страдалъ, отъ боли вскрикивалъ, и больные приходили развлечь его, „разбалакивать“. Они угощали его, отдавая гостинцы, которые приносили родные во время посѣщеній, рассказывали ему анекдоты, „разную брехню“, а онъ, когда начиналъ поправляться, въ свою очередь развлекалъ всѣхъ звонкимъ смѣхомъ, ясной улыбкой, рассказами о деревнѣ,- выразительными, яркими рассказами о беспокойной, голодной землѣ... Нѣсколько разъ онъ былъ свидѣтелемъ и участникомъ аграрныхъ волненій; во время бунта у него на глазахъ засѣкли до смерти его дядю, а брата, тоже избитаго, увезли, судили и отправили въ арестантскія роты... Когда Тихонъ рассказывалъ объ этомъ, ясные, синіе глаза его зажигались злобой, голосъ звучалъ гнѣвно, почти яростно; хмурыми становились больные, хмурыми и взволнованными, и на мальчика они смотрѣли съ уваженіемъ и съ тревогой... О скорби своей онъ говорилъ

складно, умно, — хоть и высказывалъ порою мысли нелѣпныя и дикія; его рѣчь колыхала и подымала слушателей, и уже казалось, что не онъ младшій среди нихъ, что онъ — учитель и наставникъ...

— Это не резонъ, что скучно, — проговорилъ Федоръ Павловичъ, осторожно разматывая бинты на головѣ Асвадунова, — ты до конца мѣсяца собирался пробить.

— Раньше думалъ... А теперь скушно. Выйти хочется.

— И онъ говоритъ „хотится“, — подумалъ Пасхаловъ, смутно припоминая, что недавно, — кажется, вотъ сейчасъ, сейчасъ только, — еще кто-то на такой же точно лады коверкалъ слово „хочется“... — „Хотится“...

И вдругъ лицо Федора Павловича какъ бы застыло... Докторъ поднялъ голову и быстро повернулся къ Кочеткову. И руки его, державшія двѣ длинныя полосы прозрачныхъ марлевыхъ бинтовъ, сперва протянулись впередъ, и затѣмъ медленно опустились книзу... „Хотится... хотится“...

— Когда жъ я совсѣмъ уже здоровый! — Кочетковъ топнулъ залѣченной ногой. — Ниче-

го не болитъ...

— „Хотится“... Это Стрункинъ такъ говоритъ... „хотится“.

... И даже мысленно не могъ Пасхаловъ докончить фразу, сказать ее цѣликомъ, такъ, какъ произносилъ еи Стрункинъ...

И чернолицый Асвадуловъ, сидѣвшій на койкѣ, и Тихонъ Кочетковъ, и всѣ другіе больные, стоявшіе въ кабинетѣ, всѣ сразу замѣтили, что странное что-то и недоброе творится съ докторомъ...

Онъ поблѣднѣлъ, поблѣднѣли даже яркія, сочныя губы его, онъ скосились на сторону и стали дрожать. Какъ будто страшное, дикое и непонятное видѣніе предстало вдругъ предъ нимъ, предстало и на него навалилось... Голова Федора Павловича ушла въ плечи, плечи нагнулись, и вся фигура его покачнулась, какъ отъ сильнаго и внезапнаго толчка... „Хотится“... „Въ погромѣ участіе принять хотится“...

... - Ничего... ничего... — мелькало въ головѣ Пасхалова. — Ничего не случилось... Тутъ Стрункинъ... Мальчика развратилъ Стрункинъ... и другіе... Онъ все же мальчикъ

еще... Они научили... Они...

Въ кабинетѣ было очень тихо.

Пересталь стонать боявшійся боли Асвадуровъ, ничего не говорилъ Кочетковъ, стоявшій съ большой чашкой и распечатаннымъ пакетомъ гигроскопической ваты. И другіе больные тоже молчали. Тѣ, которые стояли впереди, потупились... А тѣ, которые стояли сзади, протянули шею межъ плечами товарищей и старались увидѣть...

Стрункинъ же, скрывавшійся между шкафомъ и старикомъ Спиридонычемъ, подавалъ какіе-то сигналы Кочеткову, что-то ему показывалъ пальцами и, подмигивая, ободряюще моталъ головой.

## 5.

Когда, около полудня, Федоръ Павловичъ выходилъ изъ больницы, фельдшеръ Небесный тихонько, на цыпочкахъ, слѣдовалъ за нимъ и недалеко отъ воротъ остановился въ радостномъ ожиданіи... Сейчасъ подворотному Трохиму будетъ нагоняй. Здоровый будетъ нагоняй!

Трохимъ, одноглазый, старый хохоль, съ круглой, колючей бородой и подстриженны-

ми усами, въ кожухъ и самодѣльной, на боченокъ похожей шапкѣ, сработанной изъ ветхой овчины и остатковъ валенокъ, не торопясь сползъ съ тумбы, на которой грѣлся, и также не торопясь открылъ калитку. Онъ не открылъ ее широко, а только слегка отвелъ и образовалъ щель, такую узкую, что даже тонкій, худой Пасхаловъ еле протиснулся, зацѣпившись обоими боками. Выпустивъ доктора, Трохимъ просунуль голову въ щель, осмотрѣлъ дремотнымъ глазомъ улицу, — квасню, гдѣ продавались и сѣмячки, и подгнившіе арбузы, двухъ извозчиковъ, ожидавшихъ сѣдока, пьяную бабу, оравшую у винной лавки, — и затѣмъ, съ шумомъ понюхавъ табаку, побрелъ на прежнее мѣсто, на тумбу, залитую тепломъ и свѣтомъ.

Нагоняя не было, и фельдшеръ жалобно поникъ. Всѣ прохвосты, всѣ сукины сыны и жулики!.. Онъ направился въ палаты... Но тутъ послышался стукъ въ калитку. Когда подворотній открылъ, въ ней показался Федоръ Павловичъ.

— Послушайте... пойдите къ фельдшеру... скажите фельдшеру, чтобы... чтобы выписать

Кочеткова... выписать его...

Докторъ говорилъ отрывисто, торопливо, волнуясь, не глядя на подворотняго, и на лицѣ его былъ испугъ. Похоже было, будто онъ боится, самого себя боится, и боится того, что говоритъ. Каждое слово его было злымъ, смертоноснымъ паукомъ, и страшно было его слышать, и противно было видѣть, какъ бѣжитъ оно, полное яда.

— Приказываю! — вдругъ вскрикнулъ Пасхаловъ, поднявъ голову. — Чтобы сейчасъ же... Пусть идетъ!.. Сейчасъ же!.. И куда хочеть.

— Куда хочеть, Федоръ Павловичъ, — услужливо взвизгнулъ Небесный, подбѣгая. — Конечно, я сейчасъ... Пусть куда хочеть... Я сію минуту...

Пасхаловъ медленно пошелъ черезъ дорогу.

— Федоръ Павловичъ! — горестно всхлипнулъ Небесный, устремляясь за нимъ. — А что же будетъ?.. а насчетъ того... что же будетъ?..

Пасхаловъ остановился.

— Что же будетъ съ негативами? — въ

отчаяніи прокричалъ фельдшеръ.

Съ минуту Пасхаловъ смотрѣлъ на фельдшера, — далекими, затуманенными глазами... Потомъ повернулся и пошелъ дальше.

— Жаловався? — спокойно освѣдомился Трохимъ у Небеснаго.

— Погодите, погодите!.. Еще вамъ достанется!.. Еще вы свое получите...

Трохимъ, не торопясь, усѣлся на тумбу, не торопясь, сдвинулъ самодѣльную, на боченокъ похожую, шапку къ затылку и, не торопясь, съ разстановкой сказалъ:

— Бісова ты таракуцка!



# VI

## 1.

**В**осемнадцать тысячъ человекъ сдавлено было страхомъ.

Нѣсколько дней ужъ носились ужасные слухи о грозномъ погромѣ въ сосѣдномъ большомъ городѣ, объ избіеніи въ цѣломъ рядѣ другихъ городовъ и мѣстечекъ. Определеннаго знали мало, газеты запаздывали, почти никто въ городѣ не пріѣзжалъ, и нельзя было сказать въ точности, кто именно слухи привезъ. Но слухи множились, роились, зловѣщіе, жестокіе, безконечно разнообразясь и видоизмѣняясь; они ползли неотвратимо, какъ тучи ядовитыхъ змѣй, и все покрывали собой, и все мертвили.

Промелькнуло семнадцатое октября... А потомъ страшная правда стала обнажаться, она всѣми ясно угадывалась, и, разгаданная, рождала въ сердцахъ трепеть предсмертнаго часа.

По всей «черть» распространился погромный разливъ, онъ вышелъ далеко за «черту» и затопилъ всю страну. И куда не дошли еще красныя волны, онѣ дойдутъ сегодня, завтра, — дойдутъ непременно, смертоносныя, бурныя, властныя...

И страшась за себя, за тѣхъ, кто былъ поблизости, въ жестокой тоскѣ думали люди о другихъ, о невѣдомыхъ, — о невѣдомыхъ, но родныхъ, — по скорби, по мукѣ, по смерти. О всемъ народѣ думали, о всѣхъ шести милліонахъ обреченныхъ. На югъ обернуться, на сѣверъ, на востокъ и на западъ, — вездѣ, всюду, за много десятковъ верстъ, и за сотни верстъ, вездѣ лежатъ города, мѣстечки, желѣзнодорожныя станціи, въ нихъ живутъ они, невѣдомые родные, постоянно, отъ дня рожденія до послѣдняго часа несчастные, угнетенные, затравленные. И вездѣ теперь ихъ бьютъ и разоряютъ, и вездѣ рыдаютъ они и стонуть... Если бы каждый стонъ былъ каплей, а вопли росинкой, — потонула бы безслѣдно земля.

И знали люди: спасенья нѣтъ, выхода нѣтъ, и всѣ раньше происходившія звѣрства — легкая непріятность въ сравненіи съ тѣмъ, что наступаетъ. Идутъ кровавыя волны.

Ненавидя свою слабость и презирая ее, пошли люди къ властямъ, — просить защиты...

## 2.

Отдавая отчетъ о своей миссіи населенію, депутаты значительно смягчили полученный отвѣтъ. Не хватало духа передать его во всей точности. Наибольше же страшныя слова они скрыли совсѣмъ, скрыли въ своемъ сердцѣ, и когти этихъ словъ рвали сердце; а длинные зубы угрозы вонзались въ него, и въ немъ оставались... Понемногу, однако же, населеніе истину узнало, всю до конца, и тогда тѣни близкаго безумія стали появляться въ глазахъ. Теперь уже всѣмъ, даже наибольше оптимистически настроеннымъ людямъ, стало ясно, что случится самое худшее, что избѣгнуть этого худшаго уже нельзя. Оно придетъ, оно неизбежно, оно раздавитъ, оно уничтожитъ. И хотя знали, что укрыться нель-

зя, укрыться старались. Странное и дикое бѣгство началось во всемъ городѣ. Кто имѣлъ возможность наскоро упаковывалъ кой-какія вещи — часто не самое нужное, не самое цѣнное — и несся къ вокзалу. Уже знали, что бьютъ на станціяхъ и на вокзалахъ, бьютъ въ вагонахъ и въ городахъ вдоль линіи, — и все же бросались на вокзалъ... Многіе съ окраинъ переходили въ центральную часть города, и были такіе, которые изъ центральныхъ кварталовъ бѣжали за городъ... И если совсѣмъ уже некуда было бѣжать, уходили изъ своей квартиры въ квартиру сосѣда, — въ то время, какъ сосѣдъ, покинувъ свой уголь, несся растерянный прочь, ища спасенія въ другомъ мѣстѣ... Безъ плана, безъ мысли, безъ вѣры бѣжали и метались, не зная куда бѣжать, бѣжали, какъ будто въ самомъ процессѣ бѣгства было что-то облегчающее. И такъ широко разлилась эта потребность бѣжать и искать безопаснаго мѣста, что самые спокойные люди, самые разсудительные, какъ ни сдерживали себя и ни убѣждали, при видѣ какъ бѣгутъ другіе, какъ бѣгутъ всѣ, приходили, наконецъ, въ такое невыносимое волненіе, что

начинали метаться, кричать и стонать...

Бѣжали. Укрывались. Но вездѣ было страшно, все было страшно. Вездѣ было опасно, все было опасно. Забивались въ сарай, — и страшна была темнота его, и страшень былъ свѣтъ, проникавшій въ щели. Уходили въ погребъ, — и страшно было молчаніе его, и страшень былъ гулъ, доносившійся извнѣ. На чердакъ взбирались, — и страшно было оставаться тамъ, и ясно, такъ отчетливо и ясно видѣли люди, какъ сбрасываютъ ихъ съ чердака внизъ, головою внизъ, на камни, на топоры, на окровавленные ломы... Вездѣ было опасно, все было опасно. Въ первомъ этажѣ опасно потому, что сюда прежде всего проникнуть громылы. Въ этажахъ верхнихъ опасно потому, что оттуда труднѣе бѣжать. Днемъ опасно потому, что свѣтло и все видно, ночью опасно потому, что темно и ничего не видно. Опасно находиться въ домѣ, населенномъ евреями, — сюда громылы придутъ тучею. Опасно оставаться въ домѣ съ жильцами русскими, — тутъ свои же сосѣди изувѣчатъ. Какъ воздухъ есть вездѣ, какъ наполняетъ во время ливня всѣ выбоины дороги вода, такъ

вездѣ былъ страхъ, отъ cadaго предмета, отъ каждой мысли, отъ движенія cadaго, и звука. На что ни посмотришь — все рождаетъ одно и то же жестокое и непобѣдимое чувство, чувство растущаго, все растущаго страха... И всѣ предметы вокругъ сдѣлались чуждыми, враждебными. Самыя невыразительныя вещи, и самыя любимыя, наиболѣе привычныя и трогательно-близкія — все, все смотрѣло съ холодной отчужденностью, съ затаенной, безмолвной угрозой. Каждымъ предметомъ можно ударить, и объ каждый предметъ можно ударить. И лампой могутъ раскроить черепъ, и объ шкафъ могутъ бить твоей головой. Съ балкона могутъ сбросить, и въ чуланѣ могутъ задушить... Откуда знать, чѣмъ, какъ, на какомъ мѣстѣ искалѣчатъ тебя, и при посредствѣ чего покроютъ смертельными ранами? Можетъ быть добрыми кормильцами-инструментами, которые много лѣтъ помогали добывать кусокъ хлѣба? Можетъ быть, зонтикомъ выколютъ глаза? Можетъ быть бѣлой рубашечкой малютки-первенца перетянуть тебѣ шею? И не священный ли талесъ будетъ брошенъ на полъ подѣ

дѣвушку-дочь, когда ее стануть насиловать?

Все было опасно, все было страшно. Страшно было ходить и суетиться, — движеніями скорѣе навлечешь на себя вниманіе врага. Страшно было оставаться недвижимыми, — казалось тогда, что ничего не дѣлаешь для своего спасенія, что ближе гибель. Страшно было оставаться безоружнымъ, — оружіемъ все же напугаешь, отгонишь врага. Страшно было оружіе имѣть — непривычная рука съ нимъ не справится, его отниметъ убійца, и твоимъ же орудіемъ самозащиты прерветъ твою жизнь... И припрятавъ въ карманъ какой-нибудь ножъ, револьверъ, или гирю, люди въ трепетъ нащупывали оружіе, не зная толкомъ, — другъ это, спаситель, сладостный мститель отчаянія, или, напротивъ того, ехидный предатель-убійца... Жадно хотѣлось ножъ сохранить — какъ послѣднее прибѣжище, какъ единственную надежду. И терзала жестокая потребность сейчасъ же выбросить его вонъ, подальше, какъ можно дальше...

Молча сидѣли люди, и замученные дѣйствительностью, искали убѣжища въ нелѣпыхъ грезахъ. Если бы двойной потоло-

къ! Забраться въ пустую черноту между потолками и тамъ переждать, пока бушевать будутъ въ квартирѣ и громить... Море если бы разостлалось вдругъ, — вонъ тамъ, въ концѣ двора! И было бы на немъ иностранное судно! Състь на судно, отчалить отъ берега, и сразу тогда покончено съ ужасомъ!

Но легче дыма разсѣвались пустыя мечтанія, и послѣ нихъ, еще болѣе мучительной становилась живая правда... И какъ будто мало было ему опасностей дѣйствительныхъ, существующихъ, — измученный, истерзанный, больной умъ челоуѣка начиналъ создавать опасности воображаемыя.

И чудились повсюду измѣна и предательство; и далекіе, скрытые уголки, въ которыхъ искали спасенія, вдругъ представлялись злой западней, сознательной и ехидной. Чуланъ въ глубинѣ двора, подлѣ сарая, незамѣтный, замаскированный кустами. Тамъ спрятаться... Но не туда ли прежде всего бросятся громилы? Вѣдь они знаютъ, что если квартиры пусты, значитъ скрылись жильцы по сараямъ, по погребамъ. И пожалуй, даже миную



квартиры, сразу бросятся обыскивать чуланы и сараи, и тамъ всѣхъ и перебьютъ...

Опасно въ чуланѣ, опасно.

Бѣжать!

Куда?

Въ невыносимомъ колебаніи проходятъ минуты.

Оставаться, бѣжать... Оставаться, бѣжать... Великій выигрышъ, или гибель всего. Спасеніе, или вѣрная смерть...

Истерзанный сомнѣніемъ, замученный страхомъ, близкій къ безумію, срывается вдругъ челоуѣкъ съ мѣста, невѣроятными прыжками пересѣкаетъ дворъ, бѣжитъ, мечется, кружится въ отчаяніи, подъ свистъ ликующей смерти, и потомъ, въ ужасѣ, все возрастающемъ, мчится назадъ, — къ опасному мѣсту, откуда спасался, мчится къ нему, чтобы спастись...

Затихнувъ, снова сидятъ придавленные гранитомъ безмолвія, и въ безмолвіи этомъ съ бѣшеной энергіей работаетъ воображеніе, и душа вся изнемогаетъ и содрогается отъ жестокой работы. И каждый шорохъ поднятой вѣтромъ бумажки, и мягкій шумъ

пробѣгающаго по крышѣ кота, и каждый толчокъ сто десять ударовъ въ минуту отбивающаго сердца — кажутся новыми, несомнѣнными, точными вѣстниками громаднаго разлива... И уже нельзя молчать. Разорвется отъ молчанія сердце. Прочь надо прогнать это ужасное безмолвіе, безмолвіе, составляющее начало безмолвія другого, — великаго безмолвія смерти... И кто-нибудь заговорить... Безсвязное, медлительное бормотаніе, тусклость бреда, прерывистый хрипъ умирающаго, темный, холодный... И отзовется на хрипъ другой голосъ, — такой же истерзанный, такой же мертвенно-блѣдный и гаснущій. Потомъ оборвется... И вновь безмолвіе. И вновь слышенъ шорохъ бумажки, и мягкій бѣгъ кошки по крышѣ, и удары готоваго навѣки умолкнуть сердца... И вновь несомнѣнные вѣстники кровавыхъ всплесковъ разгрома.

# VII

## 1.

По дорогѣ Абрамъ узналъ объ ужасномъ Потвѣтѣ, который получила депутація отъ губернатора. Онъ направился домой почти бѣгомъ, и здѣсь, не входя въ квартиру, присѣлъ на грудѣ щебня. Онъ боялся, что видомъ своимъ испугаетъ Розу, и хотѣлъ нѣсколько прійти въ себя.

— Какъ Богъ захочетъ, трепетно бормоталъ онъ, думая о своемъ рундукѣ. — Какъ Богъ захочетъ, а спасать товаръ теперь уже поздно... Теперь каждую минуту можетъ вспыхнуть, и не слѣдуетъ показываться на улицѣ...

Абрамъ жилъ въ большомъ, старомъ, наполовину развалившемся домѣ, заброшенномъ вглубь длиннаго и узкаго двора. Въ домѣ было еще нѣсколько квартиръ, но за ветхостью и разоренностью онѣ давно сдѣлались необитаемыми, и Абрамъ жилъ здѣсь одинъ. Онъ занималъ ту часть строенія, въ которой сохранились еще потолки и окна, и считалось, что онъ охраняетъ домъ и мѣшаетъ

сосѣдямъ растащить его бранные остатки въ конецъ.

Когда Абрамъ вошелъ въ домъ, Розочки въ спальнѣ не было. Хана сидѣла, какъ и вчера, какъ и весь послѣдній мѣсяцъ, неподвижная, уродливо-огромная и страшная, и глаза ея были мутны, какъ вода въ стаканѣ, на днѣ котораго остается немного молока. За послѣднюю ночь ей стало значительно хуже: лицо налилось полнѣе, черты безобразно раздулись, щеки сдѣлались круглыми и полупрозрачными, какъ пузыри, образующіеся отъ ожога. Казалось, тронъ щеку булавкой, и брызнетъ широкая, упругая струя... Что-то безконечно жуткое навѣвала эта застывшая масса, что-то нездѣшнее, таинственное было въ искаженіи человѣческихъ формъ. Даже не издѣвательствомъ было оно, не мстительнымъ глумленіемъ остервенѣлаго врага. Здѣсь было что-то дикое, несообразное, противоестественное, что-то неподававшееся усиліямъ пониманія, и въ пылъ разбивавшее все наиболѣе несомнѣнное, самую правду... И при видѣ Ханы уже нельзя было не вѣрить въ сказку, въ дикіе сны, въ дѣла кашеевъ и злоб-

НЫХЪ ВЪДЪМЪ...

— Чего ты пришелъ?

И голосъ былъ чудовищный, — тонкій, сплюснутый, хриплый.

— Чего ты пришелъ?.. Осень, торговля идетъ бойко, и надо сидѣть въ лавкѣ...

Абрамъ успокоилъ жену, сказавъ, что сейчасъ уйдетъ.

— Розочка, дай мнѣ напиться, — попросила Хана. И ворчливо продолжала:— новыя моды вовсе! Расхаживаетъ!.. А торговать кто будетъ?.. Покупатель за тобой побѣжитъ?.. Подождешь, пока побѣжитъ... Розочка, пить!..

Но раньше, чѣмъ дѣвочка успѣла подать матери прописанную Пасхаловымъ подслащенную настойку изъ дигиталиса, больная уже впала въ дремоту.

Абрамъ присѣлъ противъ жены, на сундукѣ, и печальными, тревожными глазами уставился на больную. Плоскія, большія уши его были блѣдны, какъ тѣсто, блѣдно было и лицо и губы, и губы слегка дрожали.

Такъ еще недавно человѣкъ этотъ чувствовалъ себя отлично, почти счастливымъ, и у Бога своего просилъ только одного — здоро-

вья для жены. И казалось, что и этой мольбѣ внимаетъ Всеблагій, и что Хана поправляется. Абрамъ подсаживался тогда къ женѣ, и съ ней вмѣстѣ начиналъ радостно мечтать о будущемъ.

— Теперь, Хана, Богъ за насъ, — говорилъ онъ. — Онъ хочетъ намъ помочь, ты видишь сама.

— Да будетъ благословенно Его святое имя, — со вздохомъ благодарности отвѣчала Хана.

— И вотъ я знаю, что ты скоро совсѣмъ выздоровѣешь... Легче пьянаго поставить на ноги, чѣмъ бѣднаго, а мы, однако, вотъ поднялись... И Розочка теперь ужъ непременно будетъ человѣкъ!

На комодѣ, покрытомъ вязаной гарусной скатертью, подъ фотографической карточкой Мосейки, сверкаютъ золотые обрѣзы наградныхъ книгъ Розочки; надъ Мосейкой — въ золоченой рамочкѣ, за стекломъ, ея послѣдній похвальный листъ. Въ углу, подъ стуломъ, стоятъ ея новыя ботинки, желтыя, на пуговицахъ, и на стулѣ лежитъ зеленая, новая же форма... Абрамъ смотритъ на все это, и сердце

его переполняется умиленіемъ и гордостью...  
Возбужденный, онъ мечтаетъ.

— Ты думаешь, простымъ докторомъ будетъ Розочка?.. Ого! Знаменитымъ докторомъ. Лучше всѣхъ профессоровъ!.. Будетъ жить въ Одессѣ, на самой главной улицѣ... а то, такъ даже въ Петербургѣ... Думаешь, испугается Петербурга? Нисколичко... И не безпокойся, она не будетъ, какъ наши собаки — Бернфельдъ и Степаненко, которые бѣднаго человѣка и не допускаютъ до себя... Всѣхъ лъчи, всѣ одинаковы! — бѣдный, богатый, все равно... У богатаго — сто рублей за визитъ, двѣсти бери!.. Богатый можетъ!.. Богатый все можетъ! Богатая дама можетъ себѣ позволить и два раза въ году рожать... Съ богатаго дери... А бѣдный... Ахъ, Хана! Если бы ты только могла понять, какая голова у нашей дѣвочки!

— «Герои Греціи», — задумчиво, тихо протягиваетъ Хана.

— А еще бы! — глаза Абрама дѣлаются суровыми, вызывающими. — А то какъ же иначе?.. Если кто учится просто хорошо, — когда на пять, когда на четыре, — ну, такъ ему даются какія-нибудь басни, или тамъ

стихотвореніе, Лермонтова, Пушкина... А когда Розочка имѣетъ всегда круглое пять съ плюсомъ, то ей таки и награда серьезная слѣдуется...

## 2.

Абрамъ вспомнилъ теперь о серьезной наградѣ, о «Героихъ Греціи», — и сердце его такъ и заколотилось...

Неужели?..

И эту книгу... и ее... и ее тоже...

Абрамъ вскочилъ, съ минуту постоялъ въ неподвижности, и выраженіе глубокаго изумленія было на его блѣдномъ, какъ бы вдругъ окаменѣвшемъ лицѣ... Потомъ легла на лицо гримаса, и стало похоже, будто испытываетъ человѣкъ этотъ жестокою тошноту... Ноги не держали Абрама, и онъ грузно опустился на сундукъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, набравшись силъ, онъ съ болѣзненной, жалкой улыбкой, вполголоса, сказалъ дочери:

— Я знаю?.. Это таки глупо... конечно... И человѣкъ всегда дѣлаетъ глупости... всю жизнь...

— Что такое, папаша?



Абрамъ, пораженный, молчалъ. Нѣтъ другихъ мыслей у дѣвочки, кромѣ черныхъ мыслей. Нѣтъ другихъ чувствъ въ ея сердцѣ, кромѣ страха и тоски. А она стоитъ передъ нимъ спокойная, ясная, — и точно золотые лучи легли вокругъ ея чистаго лба...

Какъ можетъ она?.. И отчего нѣтъ у него этой силы? Всѣ радости жизни онъ отдалъ бы за то, чтобы выглядѣть теперь спокойнымъ, беззаботнымъ, чтобы улыбнуться, чтобы найти для дѣвочки хоть одно утѣшающее слово... Но нѣтъ его, этого слова, его нѣтъ, — ни въ душѣ, ни на языкѣ нѣту его, и полный страха, полный трепета, онъ бормочетъ:

— Твои книги... наградныя книги твои...

— Но, вѣдь, ничего, папаша, не будетъ. Навѣрное, ничего не будетъ.

Голосомъ блѣднымъ и мутнымъ, давясь словами и какъ бы умоляя о прощеніи, Абрамъ лепечетъ:

— Конечно, ничего не будетъ... навѣрное не будетъ... Но... книги... твои наградныя книги...

Руки его трясутся и въ нихъ такъ и прыгаетъ продолговатый, бархатный, съ

облѣзлыми бисерными кисточками мѣшокъ. Въ этомъ мѣшкѣ хранятся молитвенныя принадлежности. Тридцать пять лѣтъ назадъ Хана сшила его Абраму, своему жениху. Былъ тогда мѣшокъ красивъ и ярокъ, и весело сверкали на малиновомъ фонѣ вышитыя бисеромъ пальмы. Теперь онъ изношенъ и жалокъ, — какъ и старый владѣлецъ его.

— Если книги будутъ спрятаны, то развѣ повредить?.. Не нужно прятать... Не нужно... Я знаю, что это лишнее и глупо... Но... но развѣ повредить?..

Трясутся руки, и все тѣло трясется... «Герои Греціи» въ переполненный мѣшокъ не входятъ, и книга упорно торчитъ кверху, сверкая золотомъ обрѣза. Абрамъ встряхиваетъ мѣшокъ, и кое-какъ втискиваетъ въ него дорогую книгу. Потомъ онъ снимаетъ со стѣны маленькую, осыпанную ракушками рамку. Изъ-подъ тусклаго, запыленного, съ пузырьками стекла, сверху, въ углу, треснувшего, печально смотритъ испуганное лицо маленькаго гимназистика...

— Проси ты, — безъ словъ молить Абрамъ, вглядываясь мигающими глазами въ

изображеніе сына.

Оно выцвѣло, угасло, изображеніе. Оно угасло, — какъ угасаетъ и въ сердцѣ образъ давно ушедшихъ, давно умершихъ... Но что-то таинственно-важное скрыто въ сѣрыхъ полутонахъ его, и что-то бодрящее и живительное зарождаетъ оно въ душѣ старика. Мы надежда ли? Не далекій ли отсвѣтъ благодарственной пѣсни?..

Онъ чистъ былъ, этотъ мальчикъ; онъ былъ невиненъ и кротокъ. Горька была жизнь его, и печальва, и была она отнята до времени. За что? Зачѣмъ?.. Кто скажетъ?.. Кто пойметъ?.. Не затѣмъ ли, чтобы увести его туда, вверхъ, къ золотому престолу Предвѣчнаго? Не стоитъ ли онъ тамъ свѣтлымъ ангеломъ, не творить ли святую молитву, заступникъ, предъ небеснымъ Отцомъ, и не о спасеніи ли блѣдныхъ людей говоритъ Ему?..

— Говори, проси!.. За Розочку проси... за больную мать... за стараго отца проси, за весь изстрадавшійся старый народъ твой проси и требуй, Моисей!

... Но гаснетъ блѣдная надежда.

И нѣтъ уже лучезарнаго призрака, нѣтъ

заступника и хранителя. Худенькое, посинѣлое тѣльце, искаженное смертью, лежитъ. Послѣдней судорогой уродливо скрючены члены; выраженіе жестокаго страданія кричитъ въ остеклѣвшихъ глазахъ, — и запахъ... Запахъ тлѣнія. Запахъ тлѣнія.

### 3.

Абрамъ положилъ карточку въ мѣшокъ, затянулъ очкуръ и вышелъ въ сѣни.

Въ потолокъ зіялъ широкій, черный прямоугольникъ, — ходъ на чердакъ. Кадка съ водой стояла въ углу, а подлѣ нея былъ большой ящикъ со старой обувью. Абрамъ торопливыми движеніями выдвинулъ впередъ бочку, изъ ящика выкинулъ всю обувь, и поставивъ ящикъ на кадку, сталъ взбираться на чердакъ. Какая-то особенная, тяжелая духота сдавила ему грудь, какъ только голова его и плечи вонзились въ черноту прямоугольника. Пахло сажей, пылью, прѣлымъ деревомъ, и было такъ темно, что глазамъ становилось больно.

У самага входа, гдѣ было свѣтлѣе, ясно намѣчался невысокій боровъ. Абрамъ оперся на него, какъ на плечо ребенка, и тихонько

поползъ. Глаза стали освоиваться съ темно-той, она не была уже такой плотной, и можно было различать стропила, скать крыши, какіе-то неопредѣленные бугры справа, наваленныя другъ на дружку оконныя коробки слѣва...

Проснувшаяся Хана заговорила внизу, — и здѣсь, въ пустомъ, придавленномъ осѣвшей крышей чердакѣ, голосъ ея гудѣлъ особенно дико и странно... Абрамъ добрался до того мѣста, гдѣ боровъ дѣлалъ поворотъ, и здѣсь сѣлъ. Минутку передохнувъ, онъ сталъ тихонько бить по борову кулакомъ. Никого не было. Никого здѣсь быть не могло. Никто не подымался сюда уже многіе годы. Но Абрамъ пугливо оглядывался, — то направо, гдѣ мертвой глыбой стояла плотная тьма, то налѣво, гдѣ вдали длиннымъ пятномъ ярко горѣло въ накатѣ отверстіе входа, — и внезапно замирая, прерывалъ свою трепетную работу. Сердце его, отъ непривычныхъ усилій, отъ волненій — билось такъ громко и сильно, точно онъ ночью влѣзъ въ чужую квартиру, чтобы ограбить, и поджечь, и убить... Онъ начиналъ работу опять, опять билъ по борову

кулаками, — и опять бѣжало во тѣмъ чердака тревожное, глухое гудѣніе... Кряхтѣла и стонала дряхлая крыша, накатъ трясся и плакалъ, и казалось, что это старики въ богадѣльнѣ, испуганные ночнымъ кошмаромъ, кричатъ и взываютъ о помощи...

Боровъ подался, наконецъ, тяжелый кирпичъ провалился внутрь. И туча сажи, много лѣтъ холоднымъ пластомъ покоившаяся на днѣ, заколыхалась и быстро взвилась кверху. Выломавъ еще два кирпича, Абрамъ просунулъ мѣшокъ въ отверстіе, и потомъ поползъ обратно.

— Хорошо спрятано... очень хорошо...

Онъ сидѣлъ на накатѣ чердака, свѣсивъ внизъ ноги, и платкомъ вытиралъ себѣ лицо. Спрятано такъ удачно, что цѣлыя сутки можно шарить и ничего не найдутъ. Да... Что угодно можно дѣлать, а мѣшокъ теперь въ безопасности, въ полнѣйшей безопасности...

— Розочка, пить, — слышался голосъ Ханы. И вдругъ Абрамъ затрепеталъ.

Мысль, которая давно стучалась къ нему въ сердце, мысль, которая давно и неотступно вилась около сердца, теперь вдругъ, сразу,

сердцемъ овладѣла. Овладѣла, и сдравила его, — съ такой силой, что Абрамъ чуть не свалился внизъ, потрясенный, раздавленный...

— Но она... но Хана... Что же будетъ съ Ханой?.. Мѣшокъ спрятанъ... Если придутъ, если станутъ разбивать и грабить, Абрамъ можетъ убѣжать, и Розочка можетъ убѣжать и спастись. Но она, Хана, прикованная къ постели, не владѣющая ни однимъ членомъ, что сдѣлаетъ она!..

Вопросъ этотъ дикой смерчью сталъ въ душѣ Абрама и весь ядъ многочисленныхъ жалъ своихъ сразу пролилъ въ его кровь.

— Розочка, поправь мнѣ одѣяло! — донеслось снизу.

— Сейчасъ, мамаша.

— Отодвинь мою ногу... еще отодвинь... И подними мнѣ вѣки, я хочу тебя видѣть.

Умолкла. Уснула. Застыла. Застыла, неподвижная, какъ мертвецъ, и чувствительная, какъ больной.

— Что будетъ съ Ханой?

# VIII

## 1.

Тепло, свѣтло, сухо и ясно, — такъ ясно въ воздухѣ, что съ горы, изъ церковнаго двора, отчетливо видна вся Соборная улица, и дальше, противоположный берегъ рѣки, а на немъ крохотныя хатки деревни Татарки. Солнце свѣтитъ радостно и весело, точно оно впервые увидѣло землю, увидѣло только все доброе на ней и хорошее, — и восхищенное, въ благодарномъ волненіи, обливаетъ ее и лаской, и нѣгой, и любовною рѣчью безъ словъ.

Арина Петровна сидѣла во дворѣ на каменной скамьѣ и еще больше, чѣмъ во всѣ послѣдніе дни, была мрачна и взбудоражена. А о. Павелъ, печально вздыхая, ходилъ взадъ и впередъ по утрамбованной и посыпанной золотистымъ пескомъ площадкѣ, и временами бросалъ на жену пугливыя, вопрошающіе взгляды.

— Вонъ Костинька идетъ, — сказалъ онъ, оборачиваясь къ открывавшейся съ визгомъ калиткѣ. И на лицѣ старика появилось вдругъ



выраженіе радостной надежды. — А можетъ... а можетъ онъ что сдѣлаеть!..

Во дворъ входилъ высокій, плотный, осанистый и очень изящно одѣтый въ сѣрое, господинъ. У него было цвѣтущее, розовое лицо, богатые темно-русые усы и крупный, съ широкими ноздрями, красивый носъ. Изъ-подъ золотого пенснэ, съ котораго падала внизъ широкая, въ два пальца, черная тесьма, привѣтливо и ласково смотрѣли глубокіе, безмятежнымъ довольствомъ и дѣтской веселостью свѣтившіеся глаза, а раздвинутыя добродушной улыбкой яркія губы позволяли видѣть двѣ шеренги веллколѣпныхъ, бѣлыхъ, точно двѣ полосы фарфора, зубовъ. Это былъ Васильковскій, Константинъ Михайловичъ, инженеръ, племянникъ Арины Петровны. Выхоленностью своей, величественной осанкой, изящными манерами, онъ походилъ на родовитаго барина, пожалуй на какого-нибудь кнзя. На самомъ же дѣлѣ онъ былъ изъ духовнаго званія, сынъ дьячка. Манеры, впрочемъ, были у него «двухъ сортовъ». Когда это бывало ему нужно, для дѣла, Васильковскій держался важно, чинно, торжественно, и го-

вориль, какъ придворный, — величественно или угодливо, — и всегда многозначительно. Если же надобности не представлялось, въ кругу близкихъ, онъ «паньскія штукенціи» отбрасывалъ прочь, давалъ себѣ свободу, и какъ бы вознаграждая себя за тягостные и вынужденные часы чопорности и дѣловитаго формализма, безъ конца балагурилъ, шутилъ, дурачился, — и другихъ дурачилъ. Онъ былъ человѣкъ ловкій, талантливый и знающій, отлично во всемъ успѣвалъ, и въ тридцать два года занималъ очень видное положеніе на одномъ изъ крупѣйшихъ южнорусскихъ заводовъ. Въ компаніи съ однимъ вліятельнымъ графомъ добивался онъ, — почти добился, — концессіи на устройство въ городѣ порта и элеватора, и теперь пріѣхалъ сюда затѣмъ, чтобы съ мѣстными муниципальными дѣятелями наладить послѣднія детали предпріятія.

— Костя, родной мой! — бросилась къ нему Арина Петровна. — Поговори, Христа ради, съ Федей... Можетъ хоть ты разсѣешь его.

Васильковскій скорчилъ страдальческую гримасу и сталъ по-чумацки скребти за ухо-

мъ.

— Тетечка... вы бы лучше красного вина предложили:

— Голубчикъ, Костенька...

Арина Петровна торопливо, безсвязно, путаясь и повторяясь, стала говорить Васильковскому о своихъ горестяхъ... Она рассказывала ему о нихъ и вчера, и три дня назадъ, и вообще въ каждое его посѣщеніе, и все-таки возобновила теперь рассказъ съ самаго начала, съ «проклятаго Мосейки», отъ котораго Федя ожидовѣлъ на всю жизнь... Она перешла къ событіямъ послѣднихъ дней, — къ тому, что не ѣсть и не пьеть Федя, что глаза у него, точно его на казвъ ведутъ; что такъ вѣдь и служить нельзя, и практика вся разлѣзется...

Она говорила волнуясь, нараспѣвъ, и круглые безъ рѣсницъ глаза ея сверкали то злостью, то печалью, руки разсѣкали воздухъ, и огромныя, вислыя груди, какъ два мѣшка съ отрубями, тяжело болтались подъ просторной фланелевой кофтой...

Васильковскій долго слушалъ, терпѣливо, серьезно и молча. Онъ поддакивалъ, причмокивалъ языкомъ, покачивалъ сочувственно

головой... Потомъ вдругъ отчаянно ахнулъ, грохнулся, какъ съ крыши сброшенный, на скамью, склонилъ вабокъ голову, опустилъ книзу руки, закрылъ глаза...

— Въ смерти моей, — невнятно, чуть слышно, коснѣющимъ языкомъ залепеталъ онъ:— въ смерти... винить... тетку... Убійцу Петровну...

Аринъ Петровнъ шутовскія выходки племянника были знакомы давно, и потому, не смущаясь трагической кончиной его, она продолжала свои причитанія.

— Смотри, Ариша, хрипитъ вѣдь уже, — добродушию засмѣялся о. Павелъ.

— Чортъ знаетъ изъ за кого, и изъ за чего Федя такой сдѣлался, что ну, прямо вотъ, какъ будто сейчасъ тифомъ болѣлъ...

— Ну нѣтъ, это ужъ слишкомъ! — звѣрски заоралъ Васильковскій, вскочивъ. — И успошаго не жалѣете?.. Ужъ лучше я къ Федькѣ пойду.

Сопровождаемый любовнымъ смѣхомъ о. Павла и обиженными, сердитыми укорами тетки, Васильковскій поспѣшно направился въ домъ. Онъ прошелъ въ узенькій корридор-

чикъ, заставленный сундуками и шляпными коробками, и постучалъ въ дверь.

## 2.

— Федоръ, съ чего это у тебя видъ такой веселый?

Онъ стоялъ на порогъ и съ удивленіемъ смотрѣлъ на Пасхалова.

— Веселый? — глухо спросилъ Федоръ Павловичъ.

— Да... точно любимую женщину сейчасъ схоронилъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ,- добавилъ Васильковскій черезъ минуту, перемѣнивъ тонъ:- что это съ тобой?.. Нездоровится?

Федоръ Павловичъ сидѣлъ на диванѣ, а надъ диваномъ висѣлъ роскошный портретъ генерала Драгомірова. Портретъ былъ мѣстнаго производства, геройски скверный и очень большой. Широкая рама изъ папье-машэ свирѣпо горѣла новенькой позолотой, и было похоже, что она смазана жиромъ. Это художественное произведеніе очень огорчало Пасхалова, онъ раза три выносилъ его вонъ, въ чуланъ, но Арина Петровна приносила генерала обратно, вѣшала на мѣсто, и при это-

мъ сильно сердилась на сына. Сердился и Федоръ Павловичъ на мать, но поставить на своемъ не умѣлъ, и побѣдоносный генераль такъ ужъ навсегда въ кабинетъ и воцарился.

— Тамъ старики кое-что говорили мнѣ...— сказалъ Васильковскій, отводя въ сторону зацѣпившуюся за усы широкую тесьму пенснэ. — Неужто-жъ до такой въ самомъ дѣлѣ степени волнуетъ тебя это все?..

Выраженіе просительное, смѣшанное съ выраженіемъ скрытой, несмѣлой досады, появилось на блѣдномъ лицѣ Пасхалова. «Ты весель, ты доволенъ, ты здоровъ, — говорили печальные глаза доктора, — у тебя свои дѣла... пріятныя... проходи себѣ дальше... пожалуйста, проходи...»

Васильковскій сѣлъ.

— Сестричка твоя идетъ... Дѣвица столько же революціонная, сколько и миловидная... И, говорятъ, всѣхъ рабочихъ съ завода въ рукахъ вотъ какъ держить.

Вошла Наталья, живая, бойкая и свѣжая, какъ всегда; но теперь лицо ея было нѣсколько блѣдно, и въ глазахъ было что-то сосредоточенное, строгое. Войдя, еще прежде

чѣмъ поздороваться, она бросила торопливый взглядъ подѣ диванъ, на то мѣсто, гдѣ оставила вчера чемоданъ. Чемоданъ смутно вырисовывался изъ мрака кирпично-красной массой, и на черныхъ ремняхъ его тускло желтѣли широкія мѣдныя шляпки гвоздей.

— Такъ и случилось, вчера не успѣли собраться, — сказала Наталья, — Ёду сегодня, и сейчасъ заберу чемоданъ.

Она присѣла.

— Вояжъ — дѣло святое, — замѣтилъ Васильковскій. И, обратившись къ Пасхалову, продолжалъ: — Позволь мнѣ сказать тебѣ, Федоръ, ты слишкомъ близко принимаешь все это къ сердцу... И волнуешься напрасно.

— Тебя это не волнуетъ?

— Меня?..

«Уйти... Ей-Богу, лучше будетъ».

Чувствовалъ инженеръ, что можетъ завязаться разговоръ, — длинный, пожалуй шумный... А для чего? Никакого ни интереса, ни удовольствія въ этомъ нѣтъ, Если же пойти къ Марьѣ Александровнѣ, то она споетъ арію Сантуццы или изъ Отелло «Ave Maria», и это дѣйствительно будетъ весьма не вредно...

— Волнуетъ ли это меня? — медленно переспросилъ Васильковскій.

Онъ испытывалъ затрудненіе и не зналъ, какой теперь взять тонъ, — тотъ, которымъ говорилъ сейчасъ съ теткой, дурачливый, веселый, или же серьезный и дѣловой... Съ минуту поколебавшись, онъ выбралъ среднее, и какъ-то неопредѣленно сказалъ:

— Непріятная, конечно, можетъ выйти штука, но... вѣшаться изъ-за всѣхъ этихъ исторій я... не думаю, чтобы было полезно.

Пасхаловъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Ты газеты читалъ? — тихо спросилъ онъ. — Въ десяткахъ городовъ шелъ разгромъ.... Сотни тысячъ разоренныхъ... лилась кровь...

— Ахъ, Федоръ!.. Это преувеличено, — съ внезапной горячностью перебилъ Ваеильковскій. — Разумѣется, все это очень скверно, и тяжело, — на лицѣ его легла морщина досады, — но... вѣдь ужъ было время привыкнуть къ этимъ явленіямъ... И отчего же у тебя теперь такое трагическое лицо?

Инженеръ внимательно, и съ начинавшейся тайной печалью, смотрѣлъ на Федора



Павловича, и ему отъ души жаль становилось родича. Натура чистая, нѣжная, тонкая, — думаль онъ, — натура съ огромной чувствительностью... Съ такой чуткостью жить бы гдѣ-нибудь въ сказочныхъ странахъ, въ надзвѣздныхъ сферахъ, гдѣ все гармонія и справедливость. А на грѣшной землѣ съ ней разобьешься въ дребезги и пропадешь...

— Можно жить и на грѣшной землѣ,- тихо возразилъ Пасхаловъ, когда Васильковскій высказалъ ему часть своихъ соображеній. — Не вездѣ на землѣ происходятъ избіенія ни въ чемъ неповинныхъ людей...

Наталья Павловна въ разговоръ не вмѣшивалась, но было видно, что онъ очень ее занимаетъ, даже волнуеть. Она вскидывала тревожные глаза то на брата, то на Васильковскаго, — и когда Федоръ Павловичъ говорилъ, по лицу ея пробѣгала тихая дрожь, и появлялось на немъ выраженіе нетерпѣнія и досады...

— Избіеніе! — васильковскій пожалъ плечами. — Сказано сильно... но избіеній, вѣроятно, не было, а были отдѣльные случаи насилія, и еще неизвѣстно кѣмъ и вызван-

ные... Конечно, это страшно возмутительно и гнусно. Но все же, главнымъ образомъ, народная ненависть выразилась, вѣдь, въ разгромѣ имущества. А тутъ, Федоръ, бѣда, при всей своей огромности, не такъ ужъ непоправима. Евреи, ты и самъ знаешь, человѣчки энергичные, дѣятельные, и у нихъ очень развита благотворительность. Пойдутъ сейчасъ разные тамъ сборы и подписки, комитеты, и въ непродолжительномъ времени все и заживетъ... Ну, а у кого были долги, — инженеръ весело оскалилъ красивые зубы, — тотъ воспользуется случаемъ и не заплатитъ...

— «Заживетъ»! — не глядя на Васильковского сказалъ Пасхаловъ. — Хорошо, пусть и заживетъ... Но ты вотъ что мнѣ скажи: вотъ, твой народъ совершаетъ ужасное, жестокое дѣло. Проливаетъ кровь, убиваетъ... Женщинъ, младевцевъ, всѣхъ... Ты, — голосъ его сталъ глуше, а глаза печальвѣе, — ты отвѣтственнымъ за это дѣло себя не считаешь?

Васильковскій нетерпѣливо заворочался.

— Я?.. Отвѣтственнымъ?..

Онъ намоталъ на палецъ широкую чер-

ную тесьму отъ пенснэ и потомъ торопливо размоталь.

— Голубчикъ, да, вѣдь, я громить не ходилъ.

### 3.

— Хорошо, Федоръ! — вдругъ отозвалась Наталья. — Ты вотъ считаешь себя отвѣтственнымъ... Но что же ты сдѣлалъ, что же ты сдѣлаешь, для того, чтобы это самое жестокое дѣло не совершилось? Что?!

— Что я сдѣлаю?

— Да, что ты сдѣлаешь? — Наталья порывисто встала. — Какъ, чѣмъ будешь ты ему противодѣйствовать?..

Пасхаловъ помолчалъ въ смущеніи, и потомъ тихо сказалъ:

— Что же я могу... Я не знаю... Кажется, у меня никакихъ средствъ...

— Вотъ! Вотъ то-то и есть! — гвѣвно, и съ болью, вскрикнула Наталья. — Только и зналъ ты всю свою жизнь, что хныкать и ныть... Господи, да что же это такое!.. Вотъ, Константинъ расхваливалъ тебя, — «нѣжная, тонкая, чуткая натура»... А я твою чуткую натуру ненавижу, и ты внушаешь мнѣ чувство

злбное, омерзѣніе ты мнѣ внушаешь!

— Charmant, ma cousine! — взвизгнуль Васильковскій, весело подскакивая на стулъ. — Стиль у тебя удивительно мягкій.

— Право же, Федоръ! — съ какою-то дѣтской наивноcтью и въ то же время съ возрастающей горячностью воскликнула Наталья. — Ну, что же ты дѣлаешь! И за всю свою жизнь, что ты дѣлалъ?.. Ты посмотри вокругъ... Какое радостное, какое прекрасное время настало! Новая жизнь строится, прекрасная и свѣтлая. Передъ ея ростомъ дрожить и стонетъ все отжившее... Оно корчится отъ ужаса передъ неминуемой гибелью, оно задыхается уже отъ смрада своего гніенія... Какая радость, какое непонятное, незаслуженное блаженство выпало намъ — жить въ пору этой борьбы... и принимать въ ней участіе... Ахъ, Федоръ! Вѣдь рая не нужно будетъ!.. Вѣдь... вѣдь...

Голосъ ея прервался. Она стояла посреди комнаты, вся сіяющая и трепетная, нѣжная, какъ юность, и какъ юность сильная. Слезы стояли у нея въ глазахъ и шли изъ глазъ золотые лучи, и отъ лучей этихъ свѣтлѣе и

прозрачнѣ сдѣлалось обратившееся къ сестрѣ тусклое лицо Пасхалова...

— Ты тоже могъ бы войти въ жизнь, сдѣлаться судьей въ ней и строителемъ!.. — продолжала Наталья, волнуясь. — И мстителемъ можно сдѣлаться, Федоръ, мстителемъ!.. Зачѣмъ же терять это счастье свое... отвращиваться отъ него, отдаваться хныканью, нытью, пустому доброжелательству, оставаться «чуткой, нѣжной натурой», ничего не дѣлать и только стонать... Ахъ, отвратительно это мнѣ, отвратительно!

Она поднесла оба кулака къ своему внезапно и страшно измѣнившемуся лицу и ими потрясла.

— Отвратительно, Федоръ!.. И вотъ ты, Константинъ. — Она быстро повернулась къ Васильковскому. — Ты знаешь самъ, какъ мало ты мнѣ симпатиченъ, — ты и всѣ твои грабительскія дѣла. Но... но... ей-Богу же, въ концѣ-концовъ, даже тебя я больше уважаю, чѣмъ вотъ его.

— Очень тронуть, — сказалъ Васильковскій. — И говорю это серьезно.

— Поставилъ ты себѣ цѣлью милліонъ, —

и грабишь съ жадностью. Хочешь ты свои собственные заводы имѣть, — и идешь къ нимъ. Ты идешь!.. Ты все же человекъ дѣйствія, поступка, рѣшительнаго движенія, — и на тебя можно рассчитывать... А этотъ вотъ, а онъ... чувствителенъ, какъ нескрытый нарывъ, и нуженъ людямъ, какъ нарывъ же... Кротость у него какая-то, смиреніе, вотъ и чувство отвѣтственности у него, елеемъ онъ какимъ-то особеннымъ пропитанъ, или вотъ, отраженіемъ этихъ церковныхъ стѣнъ, — не разберу и сама... Но одно знаю, негоденъ онъ ни къ чему, и никакого дѣла съ нимъ нельзя имѣть... Вчера, напримѣръ, понадобилась мнѣ отъ него услуга одна...

Наталья бросилась къ дивану и проворно вытащила изъ-подъ него свой чемоданъ.

— Надо мнѣ было въ надежномъ мѣстѣ скрыть... вотъ это... Такъ, вѣдь, не рѣшилась прямо сказать ему, въ чемъ дѣло! Должна была врать... три короба навратъ: — уѣзжаю, съ хозяйкой поссорилась, чортъ знаетъ, что еще...

— Значить, таки нелегальщина, — криво усмѣхнулся Пасхаловъ:— а увѣряла честнымъ

словомъ, что это не прокламаціи.

— А, я увѣряла!.. — Наталья съ насмѣшкой сожалѣнія посмотрѣла на брата. — Ну, что жъ, увѣряла и не солгала: тутъ нелегальщины и нѣтъ, и ни одной прокламаціи нѣтъ... Тутъ... тутъ вотъ что...

Проворно щелкнувъ ключомъ, она раскрыла чемоданъ, и посыпались изъ чемодана, вмѣстѣ съ кофточками, чулками и носовыми платками, разныхъ калибровъ револьверы...

— Это вотъ что, — лукаво смѣясь одними глазами, сверкающими и злыми, повторила Наталья. — Для самообороны... Сейчасъ отнесу въ одно мѣсто и тамъ раздалутъ... Вотъ, спрятала у него чемоданъ, и всю ночь неспокойна была...

— Чего жъ ты боялась, выдамъ, что ли? — уныло спросилъ Пасхаловъ.

— А кто тебя разберетъ, «чуткую натуру» твою?.. Развѣ можно довѣрять тебѣ, развѣ можно знать, какая еще нелѣпая идея зародится въ твоей прокнсшей душѣ?.. Можетъ быть «злу не противься», можетъ быть «самооборона еще больше ожесточить»... Вѣдь, ты же и трусь...

Она собрала револьверы, завернула въ бѣлье, и сунула въ чемоданъ.

— Я очень жалѣла потомъ, что не къ Константину отнесла.

— Ко мнѣ такихъ вещей не носи, — спокойно отозвался Васильковскій, — я не впускаю.

— Господи!.. Братъ онъ мнѣ, братъ!.. — тоскливо и какъ бы съ недоумѣніемъ вскрикнула Наталья послѣ нѣкотораго молчанія. — И, вѣдь, все же люблю я его... Если не считать отца, — единственный же ты, Федя, человекъ на землѣ, котораго я люблю... Но ты... ты проклять проклятіемъ внутренняго безсилія, ты гадокъ мнѣ, и... и... и, кажется, съ радостью взяла бы я вотъ этотъ самый чемоданъ, да такъ бы по головѣ тебя, негодяя, и двинула... Чтобъ не стало тебя!

— Это, ей-Богу, чудесно! — весело хлопнулъ себя по бедрамъ Васильковскій. — Къ Марьѣ Александровнѣ я собирался, — глазки у ней эфіопскіе, и арію Сантуццы она хорошо поеть. Но ничего, не жалѣю, что не пошелъ: занятно и тутъ...

Наталья стояла у окна, спиной къ свѣту, и



въ рукахъ держала чемоданъ. Теперь она была очень блѣдна, губы ея слегка дрожали, и дрожали рѣсницы. Казалось, подступали къ нимъ слезы, и Наталья, стыдясь и негодуя, сдерживала ихъ, топила въ гнѣвѣ своемъ, въ любви своей и въ горькой печали.

Черезъ раскрытое окно тихо вливалось золотое пѣніе солнечныхъ лучей, оно въ молитвенномъ восторгѣ припадало сзади къ головѣ дѣвушки, къ слегка растрепавшимся волосамъ ея, и русые, они сіяли, какъ ореоль да старомъ, потемнѣвшемъ холстѣ...

#### 4.

— Я пойду, — просто сказала Наталья.

— Ты, можетъ быть, и права, сестра!

И Пасхаловъ умолкъ.

Молчала Наталья, печальная и строгая, и ничего не говорилъ и Васильковскій.

... Какъ будто случилось что-то.

Какъ будто одно и то же чувство, — или, можетъ быть, предчувствіе, непонятное, но важное, глубоко-значительное, охватило и Васильковского, и Федора Павловича.

Какъ будто пахнуло на дѣвушку крыломъ своимъ будущее, — и было святое крыло это

въ гимнахъ, въ сiянии безсмертiя, орошенное тьмою могиль.

— Ты, можетъ быть, и права, сестра, — еще тише проговорилъ Пасхаловъ.

И опять всѣхъ трехъ охватило молчанiе, — глубокое, значительное, почти торжественное.

А потомъ заговорилъ Васильковскiй, — тономъ звонкимъ и дѣланно веселымъ.

— Нѣтъ, правъ я... Если я отвѣтственъ за погромы, то въ меньшей мѣрѣ отвѣтственъ я и за землетрясенiе на японскомъ побережьѣ. Да... и оба вы — чудаки... Да... А еврей?.. Я скажу вамъ, дѣти мои, что нѣтъ на свѣтѣ публики болѣе живучей, чѣмъ еврей... Знаете ли вы, напримѣръ, дѣти мои, сiю глубоко правдивую кантату:

*Десять жиденятъ  
Дружески ѣдятъ,  
Жаль, одинъ-то другъ  
Подавился вдругъ,*

другой потомъ утонулъ, третiй застрѣлился, четвертый огурцомъ зарѣзался, и такъ дальше... Цѣлыхъ девять еврейчиковъ погибло, остался одинъ. Одинъ!.. И все жъ та-

ки, черезъ годъ, — глядь! — и ужъ снова

*Десять жиденятъ  
Дружески ѣдятъ...*

— Константинъ!

Пасхаловъ быстро поднялся.

— Да, я Константинъ. — Васильковскій нахмурился и тоже всталъ. — Я Константинъ Васильковскій... И по случаю этой причины ухожу... Ну тебя совсѣмъ, Федоръ, — отъ тебя и отъ твоей сестрицы заболѣешь...

Васильковскій, красиво оскаливъ зубы, усмѣхался. Внутренно же онъ былъ хмуръ и очень золъ.

# IX

## 1.

Пасхаловъ шелъ внизъ, къ болоту. Иногда онъ останавливался, поднималъ глаза, обводилъ ими улицу, дома, далекій горизонтъ, бурия хаты деревни Татарки на немъ, — и выраженіе унылаго недоумѣнія еще рѣзче становилось на его лицѣ... Вездѣ люди, русскіе люди, они дѣлаютъ обычное свое дѣло, торгуютъ, судятъ, лѣчатъ, пишутъ бумаги, работаютъ въ мастерскихъ и въ полѣ, все идетъ безъ большихъ измѣненій, по старому, какъ шло вчера, какъ годъ назадъ шло, вездѣ русскіе люди беззаботно и спокойно дѣлаютъ привычное дѣло свое, и онъ одинъ стоитъ отдѣльно отъ нихъ, стоитъ одинъ...

Онъ думалъ о томъ, что говорила мать о погромѣ, о благожелательныхъ возраженіяхъ ей отца, и о томъ думалъ, что слышалъ сегодня на больничномъ дворѣ... Онъ вспоминалъ голубые глаза Кочеткова, жалѣвшаго курицу, онъ негромко, но вслухъ, бормоталъ: «я выписалъ его, я его выписалъ», — и ясно, такъ отчетливо и ясно видѣлъ, что стоитъ од-

инъ, далеко и одинъ... И острѣе, чѣмъ когда-либо, сильнѣе, чѣмъ во всю жизнь свою, чувствовалъ, что онъ русскій.

Вотъ идетъ онъ по улицѣ,- и никто на него ломомъ не замахнется. Онъ не прячется, и не дрожить... А они дрожатъ... Они въ тоскѣ и страхѣ всѣ дрожатъ...

И стало Пасхалову казаться, что если бы не былъ онъ русскимъ, что если бы испытывалъ онъ тотъ же страхъ и ту же тоску, легче бы было ему, много легче...

И продолжая свой путь, онъ сталъ рисовать себѣ, какъ сидитъ онъ, трепетный, въ комнатѣ съ закрытыми ставнями, какъ ходитъ въ ней на цыпочкахъ, прислушиваясь къ далекимъ шорохамъ, какъ, пробираясь тихонько въ погребъ, въ далекій чуланъ, бросаетъ тамъ прощальные взгляды на окружающихъ его близкихъ и дорогихъ людей... Онъ такъ живо представлялъ себѣ все это, что начиналъ испытывать ужасъ, и отъ этого ужаса ему дѣлалось какъ бы легко и пріятно...

Но вотъ мелькнула у него мысль, что онъ не имѣетъ права на этотъ облегчающій ужасъ: неси свое бремя!

Онъ не долженъ желать себѣ уменьшенія боли. Надо оставаться въ своемъ станѣ, надо держать отвѣтъ на все, что сдѣлали свои. Кровавую ношу ихъ надо нести, и сбросить ее онъ не имѣетъ права.

«Русскій»... Мелькали странныя мысли о часѣ расплаты, и мелькало слово искупленіе. Усталый, подавленный, онъ не могъ овладѣть своей мыслью, не могъ развить ее до конца, какъ это было ему нужно. Въ тревожномъ сумракѣ души не могъ онъ найти лучъ для осіянія этой, какъ будто бы новой, какъ будто бы стародавней — съ весеннихъ дней, со временъ Мосейки, бившейся въ сердцѣ, жуткой, радостной и милой мысли объ искупленіи. Но приходила она, но томила она, шелестѣла бѣлымъ крыломъ, бѣлые гимны пѣла, и твердила одно: грѣхъ народа твоего понесешь ты, понесешь кровавую ношу.

## 2.

Пасхаловъ шелъ къ Абраму.

У него былъ планъ: больную Хану перевезутъ въ больницу, а старикъ и Роза укроются въ церковномъ домѣ, онъ предоставитъ имъ свой кабинетъ.

Но Абрама онъ не засталъ, а Роза, даже не подумавъ, предложеніе отвергла. Матери хуже, разставаться съ ней она не хочетъ, и сюда, — въ полуразрушенный домъ, въ заброшенный переулокъ, гдѣ евреевъ почти нѣтъ, громилы не придутъ.

Пасхаловъ въ дикой тревогѣ смотрѣлъ на дѣвочку. Смотрѣлъ, и молчалъ, и прислушивался къ себѣ... И чувствовалъ, какъ въ ужасѣ радуется сердце... Пусть остается!.. Пусть остается она здѣсь, — худенькая, бѣлокурая дѣвочка съ яснымъ лицомъ. И старый отецъ ея, и эта заплывшая, неподвижная, могилой обвѣянная Хана пусть остаются. Пусть всѣ они остаются здѣсь, — и то, что свершится, во всей полнотѣ жестокости пусть свершится, во всей непонятной безмѣрности своей.

— Но вѣдь нельзя же быть увѣреннымъ, Роза!.. Вѣдь нельзя ни за что ручаться... Согласитесь...

Онъ смотрѣлъ въ чистые, голубые глаза бѣлокурой дѣвочки, смотрѣлъ на узкія плечи ея, на едва начинавшую формироваться грудь... Онъ убѣждалъ дѣвочку и упрашивалъ...

— Согласитесь, Роза!

И не хотѣль, чтобы она согласилась. И не боялся, что она согласится. Онъ зналъ уже окончательно, что она не согласится, что Хана останется дома, и останутся дома Абрамъ и бѣлокурая дѣвочка. И то онъ зналъ, что случится съ ними ужасное, непоправимое...

«Но со мной ничего не будетъ... Но я буду жить»...

И острую муку, причиненную этой мыслью, смягчали только все тѣ же неясныя грезы объ искупленіи, о безмѣрной тяжести кровавой ноши, которая ляжетъ на него.

— Да, это хорошо... И пусть дѣвочка остается... Пусть всѣ они остаются здѣсь...

... И вдругъ предсталъ передъ нимъ образъ сестры, — гнѣвный, строгій, карающій... «Господи, а что сказала бы она, — беззвучно простоналъ онъ тогда:— что сказала бы Наталья!..»

Нелѣпо-дикими, безумными и изувѣрскими показались вдругъ всѣ эти мысли о кровавой ношѣ, о возможности и нужности искупительныхъ жертвъ. «Это безуміе... безуміе... я просто схожу съ ума»... И самъ себѣ онъ казался противнымъ и страннымъ...



Потомъ, нѣсколько успокоившись, онъ опять обратился къ дѣвочкѣ.

— Это необходимо! — твердо и рѣшительно сказалъ онъ: — вы обязаны... Рѣчь идетъ о вашемъ спасеніи. Согласитесь, Роза!

— Я не соглашусь, — тихо проговорила дѣвочка, вставая. — Я не соглашусь ни за что. — Она крѣпко сжала рукой край стола, и маленькій шестой палець, торчавшій у мизинца, отчетливо выдѣлился на темной кленкѣ. — Не хочу спасать себя!.. Какъ съ другими, такъ и съ нами...

Брови дѣвочки сошлись; голубые, продолговатые глаза ея внезапно округлялись, и отъ огромныхъ искръ запылавшаго въ нихъ гнѣва они странно посвѣтлѣли...

— Зачѣмъ вы сюда пришли! — рѣзкимъ голосомъ прозвенѣла Роза. — Вѣдь вы не спрячете весь городъ въ своемъ кабинетѣ... Если хотите намъ помочь, ступайте въ оборону. Возьмите револьверъ и защищайте... Защищайте васъ!..

Станнымъ образомъ она — такая изящная и хрупкая — сильно напоминала теперь

неуклюжаго Абрама, когда онъ взволнованнымъ голосомъ говорилъ про Бога и его вельнїя; и въ то же время она казалась очень похожей — какъ младшая сестра — на чужую ей Наталью, суровую и требовательную...

— Розочка, согласитесь! — настаивалъ Пасхаловъ.

И не хотѣлъ, чтобы согласилась. Не хотѣлъ, чтобы погасъ этотъ образъ — гнѣвнаго, отважнаго, отваги требующаго ребенка. Не хотѣлъ, какъ не хочешь, чтобы правда замѣнялась кляузой, сумракомъ свѣтъ, весенняя радость тлѣніемъ осклизлыхъ гробовъ.

...Потомъ, когда очутлся онъ дома, и увидѣлъ въ кабинетѣ диванъ, надъ нимъ портретъ Драгомірова, — все привычное, ежедневное, и подумалъ, что такъ оно будетъ и завтра, и не будетъ здѣсь Абрама, Розы, что остались Абрамъ и Роза и неподвижная Хана дома въ глухомъ переулкѣ, гдѣ все можетъ случиться, все, гдѣ случиться можетъ все, — имъ овладѣло чувство страха, такое жестокое, какъ если бы внезапно всталъ передъ нимъ эшафотъ, на который надо всходить...

— И Кочеткова я выпишаль, — мертвымъ голосомъ сказалъ онъ.

Теперь онъ зналъ уже, для чего отпустилъ Тихона, и понялъ окончательно, для чего приказалъ выписать его немедленно... Пусть свершается все въ непонятной безмѣрности. Послѣдній камень храма пусть падаетъ стремглавъ и, падая, пусть раздавить сердце.

# Х

Толки о погромѣ поднимались каждый годъ по нѣскольку разъ, особенно передъ Пасхой. Но теперь они волновали сильнѣе, чѣмъ всегда. Теперь, чувствовалось, произойдетъ что-то совсѣмъ новое, необычное, неслыханно свирѣпое. Теперь все по иному было, по иному заявляло о себѣ, и по иному развертывалось. Другіе организаторы, другіе приемы у нихъ, другая смѣлость и энергія, и потому, не только непосредственно заинтересованные, но весь рѣшительно городъ, всѣ до единого обыватели были подъ постояннымъ вліяніемъ мысли о погромѣ. Говорили и не о немъ, заняты были и посторонними дѣлами, но главной темой, къ которой возвращались постоянно, былъ погромъ. Люди здоровались, смѣялись, работали, ѣли, заняты были разными хлопотами, заботами, — а ожиданіе, а напряженное ожиданіе было тутъ же, все время было тутъ. И тѣ, которые погрома жаждали, и тѣ, которые предпочли бы, чтобы его не было, и тѣ, въ которыхъ онъ вызывалъ жженіе позора и стыда, всѣ ждали ежеминутно, все на-

поено было ожиданіемъ, и казалось, что и дома, и улицы всѣ, и тротуары, и длинныя шеренги акацій вдоль нихъ, все ждетъ и ждетъ...

.....

.....

Всѣ заражались, охватывало всѣхъ небывалое волненіе, и оно все росло и все поднималось.

Всегда осторожень, сдержанъ, стѣсненъ. Опрокинешь что-нибудь, разобьешь — нужно заплатить; свое ли, чужое ли, — все равно, заплатиться нужно. И сдавленъ всю жизнь обычаемъ, законами, охраною, стыдомъ и приличіемъ. Нельзя вправо, нельзя влево, — прямо или, по дорогѣ, начертанной правиломъ, правилу покорный. Нудно и скучно, и душно, какъ въ высокой фабричной трубѣ... И вотъ, всѣ падаютъ преграды, границы исчезаютъ, открывается свободная ширь, и по ней несись стремительно и бурно, какъ хочеть твой духъ, какъ скажетъ случай. Никто не остановитъ, ничто не помѣшаетъ, не будетъ упрека, и отвѣтственности нѣтъ. Радостные дни широкихъ волненій, когда бить можно и

рвать, ломать и топтать ногами, разрушать и жечь, — цѣнное, дорогое, красивое, когда владыкой чувствуешь себя надъ городомъ, надъ жизнью и смертью, когда царемъ становишься надъ всѣмъ, что вчера было недосыгаемымъ и недоступнымъ.

И не знаешь, гдѣ и на чемъ остановится внезапное обогащеніе, одну ли награтишь мѣру, десять ли, сто... Била людей лихорадка при мысли о грабежѣ, и горѣли у женщинъ глаза отъ мечтаній о новыхъ одеждахъ, о шляхъ, объ юбкахъ, о серьгахъ. Сколько хочешь бери, чего хочешь бери. И лампу, и сахаръ, и самоваръ, и часы, и сколько захватишь ботинокъ и шубъ... И самые мирные люди — всегда честные, и наиболѣе умѣренные обыватели — всегда тихіе, выражали теперь мысли преступныя, желанія злобныя, стремленія хищныя. Духъ быстрого обогащенія, духъ внезапной наживы забрался въ сердца — даже чистыя, ихъ тревожилъ и смущалъ и наливалъ такимъ напряженіемъ, такимъ острымъ страхомъ прогадать, прозѣвать, упустить счастливый, можетъ быть, единственный случай, что тутъ же, потихоньку, давались

клятвенныя завѣренія не сплоскать, не сплоскать ни за что, и уже принимались всѣ нужныя мѣры — осмотръ и приготовленіе уголковъ, гдѣ награбленное удобнѣе спрятать... Уже строились разные планы, уже намѣчали улицы и лавки, куда надо пойти за товаромъ, уже перечислялись наиболее богатые еврейскія квартиры...

Мечтанія несложныя, младенчески-наивныя переплетались съ алканіями звѣря. Рядомъ съ чаяніями мелкаго воровства слышались темные планы убійцы.

Выше и выше поднималась волна возбужденія, шире разливалась она и разящей чумою изъ города покатила по окрестнымъ деревнямъ. И въ нихъ, мужики и бабы, старцы и дѣти, богатые міроѣды и голодные батраки, — всѣ говорили объ одномъ, все о томъ же, — и уже работы всѣ и дѣла распредѣлены были такъ, чтобы освободить время, нужное для поѣздки въ городъ. На пиршество хотѣлось всѣмъ. Но всѣхъ забрать не было возможности, и тутъ, при выборѣ, происходили ссоры, раздавались крики,

брань, и доходило до дракъ... Никогда еще не было въ городѣ такого огромнаго наплыва сельчанъ — развѣ когда провожали явленную икону. Возы тянулись со всѣхъ сторонъ, съ сѣвера и съ юга, и черезъ мостъ, справа, и по шоссеиной дорогѣ слѣва. И значеніе этого нашествія всѣмъ было понятно, — русскимъ, евреямъ...

Въ городскихъ жителяхъ приливъ ковку-рентовъ не вызывалъ враждебнаго чувства. Напротивъ, горожане довлѣльны были и оказывали пріѣзжимъ большое гостепріимство. Они чувствовали себя польщенными, чувствовали себя хозяевами пышнаго, роскошно обставленнаго праздника, на которомъ мѣста хватить для всѣхъ... Приходите! И посмотрите, какъ умѣло и расторопно, какъ мило и молодцами будемъ мы распоряжаться. Веселая горделивость была въ обращеніи горожанъ съ гостями, ласковая привѣтливость старшихъ членовъ счастливой семьи. Какъ евреи породнены были между собою въ чувствѣ ужаса, такъ эти люди объединены были въ возбуждающей радости, въ смѣющемся



ожиданіи счастливецѣвъ. Ходили толпою, стояли кучками, говорили объ одномъ, и другъ другу объщали удачу и успѣхъ. Деньги тратили широко, не скупясь, пили много, не считывая, не распредѣляя, — ибо знали, что деньги будутъ новыя, что хватитъ всего... Облѣпляли радостно грамотныхъ и съ праздничными лицами слушали чтеніе прокламацій, испуская подбадривающіе возгласы и весело угрожая. Смаковали чтеніе, сопровождали его фантастическими толкованіями, расширяя и безъ того широкій смыслъ прочитаннаго до размѣровъ чудовищныхъ и безумныхъ. Одна и та же прокламація однимъ и тѣмъ же лицомъ читалась разно; появлялись добавленія, импровизаціи, кровожадныя и волнующія... Для огромнаго большинства вся эта агитація являлась совершенно излишней, — оно было готово... Тѣхъ же немногихъ, которые еще сомнѣвались, или робѣли, рѣзкіе выкрики чтеца и его увѣренныя жесты быстро побѣждали. И такъ хотѣлось быть побѣжденнымъ, такъ было пріятно и хорошо, что сомнѣніе уходитъ, что смѣлость и

увѣренность воцаряется въ душѣ!.. И чтобы окончательно утвердить въ душѣ смѣлость, и чтобы совершенно угасли въ ней отблески совѣсти, начивали сомнѣвающіеся припоминать всѣ ссоры, всѣ дразги, какія когда-либо имѣли съ евреями; старыя обиды свои воскрешали и огорченія, — и отъ всего этого быстро блекли послѣдніе остатки угрызений, и появлялось прочное сознаніе и правоты своей и права.

И ждали начала, ждали опаленные страстью, съ дрожью нетерпѣнія, съ мукою жажды, ждали начала.

И въ смущеніи, недовольные, въ первомъ налетѣ зарождавшихся подозрѣній, озираясь другъ на друга, хмуро говорили, что «вездѣ уже били», что «давно уже пора начать»... И хоть знали, знали твердо, что бить будутъ, вотъ-вотъ, сегодня, сейчасъ же, по минутами впадали вдругъ въ сомнѣніе, — и отъ него становились еще болѣе нетерпѣливыми и болѣе бурными...

И не было жалости, не было состраданія, утрачивались чувства правды и стыда, — и все, что человѣка отъ скота отдѣляетъ, утра-

чивалось и исчезало. Темнѣе скота становился человекъ, кровожаднѣе волка. Вооруженный умомъ, онъ сладострастно мечталъ о грядущей отрадѣ, и на желѣзо, на ярость, на обезпеченную безнаказанность опирался. Презирая наживу, не думая о наживѣ, съ расширенными зрачками, тяжело дыша, грезилъ о безбрежномъ разгулѣ, о грохотѣ падающихъ роялей, о звонѣ стекла, о дикой мѣшанинѣ криковъ, своихъ, чужихъ, о крови, — объ алой, горячей, широкимъ полукругомъ вверхъ упруго-бьющей человѣческой крови... Звѣрь, который сидѣлъ въ черномъ сердцѣ, былъ звѣрь трусливый. Размаху не было у него, не было шири, онъ не могъ выйти изъ опасности и не могъ открытымъ преступленіемъ, возмездіе несущимъ, погасить тяжкое алканіе свое. Онъ долго томился, ничтожный, и только сѣтью проступковъ. — мелкихъ, тайныхъ, предательскихъ, — обманывалъ свою темную страсть... Но время пришло... Горячій рокоть алыхъ потоковъ стоялъ въ сгустившемся воздухѣ, и красный паръ клубился надъ раздробленными черепами...

Кровь и безнаказанность!..

Мутнѣли глаза, оскаливались зубы, дыхание становилось короткимъ и тяжкимъ, всѣ мышцы напрягались — для радостнаго прыжка къ связанной жертвѣ. Кровь и безнаказанность!

И ждали.

И тѣ, которые погрома жаждали, и тѣ, которые предпочли бы, чтобы его не было. Всѣ ждали. Все напоено ожиданіемъ, все опьянѣло отъ ожиданія, и казалось, что и дома, и тротуары, и два ряда акацій на нихъ, и зеленыя скамьи межъ деревьями, и всѣ балконы, и окна всѣ, и телеграфныя столбы со звонкими проволоками, — все насторожилось въ болѣзненномъ трепетѣ, все ждетъ, — сумятицы, топота, осколковъ, обломковъ, тучъ пуха, безумныхъ криковъ, безумныхъ звѣрствъ, — крови ждетъ все, горячей крови...

# XI

## 1.

— Погрома не будетъ, Розочка, теперь ужъ навѣрное не будетъ погрома.

— Да, да, папаша, погрома не будетъ.

Изъ всѣхъ закоулковъ дома, изъ-за грудъ щепня, изъ пустыхъ оконныхъ коробокъ, изъ-за высокихъ кустовъ колючекъ на пустырь рисовались ему страшныя дикія головы, огромныя кулаки, топоры, ломы... А онъ все тѣ же слова бормочетъ, — и словамъ тѣмъ не вѣритъ...

— Ты знаешь, вѣдь ходили къ губернатору... и губернаторъ обѣщаль... губернаторъ ручается...

— Да, да... погрома не будетъ.

Раскачиваются и сверкаютъ на солнцѣ топоры. И ревъ несется, глухой, грозный; дрожить земля, что-то на нее сыплется и падаетъ, что-то огромное, внутри пустое, и оттого тяжкій гулъ пошелъ въ воздухъ, долгій, долгій...

Больная Хана сидитъ неподвижно въ комнатѣ и дремлетъ; она не знаетъ ничего о

грозь, а здѣсь во дворѣ уже дрожить земля, и идетъ въ воздухѣ долгій гуль...

И вотъ трескъ раздается, — дробный, частый, мелкій трескъ...

— Ррро... Ррро-Розочка...

Руки Абрама ловятъ дѣвочку, прыгаютъ вверхъ, внизъ, по сторонамъ. И весь онъ трясется — такъ сильно, что вдругъ отдѣляется отъ стѣны, и потомъ снова ударяется объ нее спиною. И льетъ по лицу потъ, а губы скошены судорогой.

— Ро-Розочка...

Онъ рванулся впередъ, подскочилъ къ дѣвочкѣ, схватилъ ее за руку и внезапно измѣнившимся, высокимъ, звонкимъ, безумно торжествующимъ голосомъ закричалъ:

— Ты слышишь, Роза, ты слышишь?.. Барабанъ!.. Ты слышишь барабанъ?..

Онъ поднялъ кверху указательный палецъ. Его глаза сдѣлались круглыми, огромными, и дикая радость загорѣлась въ нихъ.

— Барабанятъ, Роза!.. Это солдаты... Это прислали въ городъ солдатъ!.. Это объявляютъ, что погрома не допустятъ... Когда были у губернатора, губернаторъ обѣщаль... Ты слы-

пишь — барабаняты!

— Барабаняты?.. Развѣ барабаняты?.

Дѣвочка прислушивалась. И пока прислушивалась, лицо ея худѣло и уменьшалось, и черныя тѣни ложились у глазъ.

— Развѣ барабаняты?..

— Перестали... Но только что барабанили. Только что очень громко барабанили...

Онъ не договорилъ. Блѣдный, гаснущій вздохъ вышелъ изъ его груди, блѣдный и тихій вздохъ умирающаго ребенка. И медленно, медленно сталъ Абрамъ опускаться на землю. Всѣ силы его отлетали, всѣ мысли исчезали. Онъ не владелъ ни ногами своими, ни руками, ни языкомъ; умолкало сердце, уходила жизнь.

Все лицо его было уже мертвымъ, и только глаза, устремленные на дѣвочку, жили. Одни глаза жили, и было въ нихъ что-то странное, что-то похожее на горькую просьбу, на страстную мольбу о прощеніи... И вотъ уже гаснуть глаза, и умиралъ человекъ.

Умиралъ человекъ, но умереть ему нельзя было.

Ему нельзя было умереть. У него была

дочь.

И Абрамъ всталъ.

Самую смерть побѣдилъ человекъ и всталъ.

— Началось! — просто сказалъ онъ правду. — Уже началось. Уже бьютъ.

— Бьютъ... уже бьютъ, папаша.

— Ты не бойся. Не бойся, дочь моя! Ты не бойся, — съ нами Богъ.

Онъ сказалъ это тихо, но такъ выразительно, и сильно, и увѣренно, что страхъ ушелъ отъ Розы. Она спокойно прижалась къ отцу и довърчиво заглянула ему въ лицо. А отецъ взялъ ее за руку, повыше кисти, какъ бралъ ее, малютку, когда училъ ходить, и сказалъ:

— У насъ Богъ крѣпкій, Богъ сильный, Богъ добрый... Онъ спасетъ насъ... Онъ насъ спасетъ.

Онъ обернулся лицомъ къ востоку, къ землѣ предковъ, гдѣ на развалинахъ храма царя-мудреца два тысячелѣтія стонетъ Израиль и плачетъ. Онъ обернулся лицомъ къ странѣ восхода, куда съ разныхъ концовъ Господней земли каждый день оборачиваются евреи въ молитвѣ. Онъ стоялъ и слушалъ... И



если бы духъ зла увидѣлъ его въ эту минуту — дрогнуло бы недрожавшее сердце, и горько бы зарыдалъ онъ отъ состраданія и скорби.

Онъ недвижно стоялъ, обернувшись къ востоку.

— Вотъ день... Господи, не въ этотъ ли? Не до заката-ли возьмешь ты душу мою и души близкихъ моихъ? Господи!

## 2.

Шумъ не былъ особенно сильнымъ, и толпа, которая бушевала невдалекъ, не была очень многочисленна. Но Абраму адъ чудился и ураганъ. Безчисленные желѣзнодорожные поѣзда налетали другъ на друга, еще и еще, и разбивались, и валились въ пропасть. Дробились стекла, звенѣла сталь. Изъ тѣсныхъ свистковъ паръ вырывался, оглушая, и на тысячи осколковъ разлетались котлы. И черные духи, радуясь празднику разрушенія, съ побѣднымъ визгомъ неслия плотною тучей, скрежетали зубами, звенѣли копытомъ, хвостами сплетались и рогами выбивали красныя искры.

И надъ всѣмъ этимъ хаосомъ треска и гро-

хота гдѣ-то поблизости, въ третьемъ дворѣ, засверкаль вдругъ женскій крикъ, — отдѣльно, высоко, ослѣпительно-остро засверкаль женскій крикъ, неземнымъ ужасомъ налитый молодой женскій крикъ...

Абрамъ поняль.

И когда поняль, схватилъ Розу на руки и бросилъ бѣжать.

### 3.

Онъ понесся черезъ дворъ, по мусорнымъ кучамъ. Потомъ бѣжалъ онъ черезъ пустырь, средь невысокихъ кустовъ колючекъ, вдоль широкой канавы, лоснившейся сѣрвовой, жидкой грязью. Шапка свалилась съ него и, подхваченная вѣтромъ, помчалась въ сторону, къ кустамъ. Онъ бѣжалъ, захлебываясь и задыхаясь, и какіе-то короткіе, хриплые звуки, похожіе на обломки рычанія, вырывались у него изъ горла... Онъ крѣпко прижималъ къ себѣ дочь. На груди своей, у подбородка, видѣль онъ бѣлое лицо ея, ея голубые глаза... И онъ бѣжалъ.

Вотъ заборъ. По ту сторону безопасно. Въ небольшомъ особнячкѣ живутъ русскіе люди... Абрамъ видѣль ихъ... Абрамъ знаетъ

ихъ... Тамъ спасеніе...

Абрамъ подбѣжалъ къ забору, поднялъ кверху обѣ руки, и перебросилъ Розочку на чужой дворъ. Онъ вскочилъ и самъ на заборъ и бросился съ него внизъ. Онъ упалъ на колѣни, а лицомъ и руками уткнулся въ густо и широко разросшіеся прутья ежевики. Сотни шиповъ вонзились въ него, въ платье, въ кожу, — съ такой радостной жадностью, будто давно уже подстерегали его и ждали, и ужъ боялись, что онъ не придетъ... Абрамъ рванулся, хотѣлъ встать, но шипы не пускали. Онъ рванулся сильнѣе. Кровь сразу показалась на лицѣ его и на рукахъ. Быстро, почти безсознательно, онъ обломалъ нѣсколько вѣвшихся въ него прутьевъ, вскочилъ, опять схватилъ Розу въ руки, и растерзанный, растрепанный, съ сухими стеблями и листьями въ волосахъ и бородѣ, побѣжалъ...

— Дочь... дѣвочку... спасите мою дѣвочку...

Кухарка держала въ лѣвой рукѣ большую разливную ложку и вытирала ее краемъ фартука. У бабы было блѣдноватое, дряблѣе лицо, очень морщинистое, и негустые, съ сильной просѣдью, волосы, тонкими пластинками ло-

жились отъ бѣлаго пробора по обѣимъ сторонамъ головы. На плитѣ въ котлѣ что-то кипѣло, паръ торопливо постукивалъ черной крышкой и, вырываясь изъ-подъ нея, клубился къ потолку.

— Нѣтъ, голубчикъ, нѣтъ... Сюда нельзя, нельзя...

— Дѣвочку... спасите мою дѣвочку... спрячьте дѣвочку мою...

— Говорятъ, нельзя сюда!.. Не хозяйка я тутъ, въ услуженіи... Господа узнаютъ... я распоряжаться не могу...

Абрамъ протягивалъ впередъ руки, раскрывалъ ротъ, хотѣлъ говорить, — и говорить не могъ. Кровь была у него на пальцахъ и на лицѣ, подъ лѣвымъ глазомъ.

— Тамъ бьютъ, — прохрипѣлъ онъ. Глаза его остановились и застыли... — Тамъ женщины... уже кричатъ женщины...

— И женщины кричатъ, и мужчины. Всѣ теперь кричатъ, — недовольнымъ тономъ сказала кухарка. — Еще бы не кричатъ, когда такое дѣлается... Ну только вы, пожалуйста, идите себѣ стсюда, пока баринъ не услыхалъ. Ей-Богу, идите...

— Дѣвочку мою... только дѣвочку...

Абрамъ стоялъ на колѣвяхъ. Опираясь объими ладовыми въ полъ, онъ цѣловалъ полъ, лежавшую на немъ рогожку. Чернымъ горбомъ вздымалась согнутая спина его, сѣдые окровавленные волосы падали съ обнаженной головы на рогожку, и прижавшись одна къ другой, вертикальво, носками внизъ, стояли широкія подошвы съ большими шляпками желѣзныхъ гвоздей.

— Дѣвочку... только дѣвочку мою... Я уйду... я сейчасъ домой уйду... у меня тамъ жена больная. Спрячьте только дѣвочку.

— А!.. Да когда-жъ не могу я, говорятъ тебѣ!.. Вотъ настырный, ей-Богу!.. У насъ и такъ въ сараѣ Нухимъ съ ребятами спрятался... шесть душъ... А какъ и до насъ жулики придутъ, бить начнутъ? Не посмотрятъ тогда, кто и русскіе... думаешь какъ?.. Идите себѣ, идите скорѣе... Лучше вы рядомъ пойдите, до капитана, тамъ вашихъ никого нѣту, тамъ и схоронитесь...

#### 4.

И вотъ, стоитъ уже Абрамъ во дворѣ, подлѣ ежевики, у забора. И Роза стоитъ около него,

и онъ держитъ ее за руку.

Куда?..

Куда же?..

Все налетаютъ другъ на друга безчисленные поѣзда поблизости, съ грохотомъ валятся въ пропасть, звенить стекло, разрываются котлы, свистятъ немолчно свистки, красныя искры, и красныя ручьи бьютъ фонтаномъ, разсыпаются, и все собой покрываютъ.

Куда же, куда?..

— Степанида, что тутъ за шумъ у васъ?

Васильковскій, сворачивая листь бристольскаго картона, вышелъ изъ столовой и остановился на порогъ кухни.

— А да ну ихъ, баринъ, совсѣмъ, съ этими и съ евреями! — Кухарка взмахнула руками. — Прибѣгаль тутъ одинъ съ дѣвчонкой, прятаться.

— Гдѣ же онъ?

— Гдѣ? Послала до капитана, вотъ гдѣ.

— Это чортъ знаетъ что, Степанида!.. Отчего вы не оставили ихъ здѣсь?

— А что мы имъ за сторожа далися?.. И такъ въ сараѣ у насъ можетъ больше пятнадцати душъ ихъ собралось. Другого мѣста нѣтъ?

Васильковскій, держа въ рукахъ бѣлый свертокъ, съ хмурымъ, злымъ лицомъ смотрѣлъ на кухарку. И думалъ онъ о Пасхаловѣ...

— Звѣрская у васъ душа.

Степанида смутилась.

— Ну какъ же въ самомъ дѣлѣ? Все до насъ, да до насъ... Тоже и у насъ не миква еврейская.

— Миква?.. Что такое миква?

— Да... такая она... еврейская... Приходятъ евреи и молятся: геръ-геръ-геръ, геръ-геръ-геръ...

Васильковскій все стоялъ на порогѣ, въ хмурой нерѣшительности.

— А ничего имъ и не будетъ, — продолжала Степанида. — Не беспокойтесь, всѣхъ не перебьютъ, на разводъ всегда останется.

«Десять жиденятъ дружески ѣдятъ», — мелькнуло въ головѣ инженера. И лицо его сдѣлалось еще болѣе пасмурнымъ и печальнымъ...

## 5.

— Надо домой, къ мамашѣ,- тихо сказала Роза.

Абрамъ очнулся, вспомнилъ... И снова прорѣзаль весь грохотъ налетавшихъ и проваливавшихся поѣздовъ пронзительный женскій крикъ... Абрамъ опять схватилъ дѣвочку на руки и опять помчался — черезъ канаву, черезъ кусты, черезъ кучи мусора и щебня. А сзади неся женскій крикъ...

Бѣлое лицо Розочки лежало на груди Абрама, и смотрѣли отцу въ глаза голубые глаза дочери.

Абрамъ прибѣжалъ домой, ввалился въ сѣни, поспѣшно захлопнулъ дверь и также поспѣшно задвинулъ тяжелый засовъ. Кадку съ водой, которая стояла въ углу, онъ придвинулъ къ двери, на кадку поставилъ ящикъ съ обувью, и поверхъ ящика для чего-то сталъ бросать все, что попадалось подъ руку — метелку, синюю эмалированную кастрюлю, какія-то тряпки...

И вотъ тихо стало вокругъ. Совсѣмъ стало тихо, и всѣ вокругъ замерли звуки. Ни криковъ, ни треска, ни гула, ни женскаго вопля, — ничего уже не было слышно...

Абрамъ прильнулъ глазомъ къ щели. На дворѣ никого не было. И въ переулкѣ никого



не было видно. И въ теченіе нѣсколькихъ минутъ не видно было людей и неслышно было криковъ... А потомъ, изъ-за мостика, изъ Александровской улицы, выплеснуло въ переулокъ пеструю ватагу быстро мчавшихся ребяташекъ. И сейчасъ послѣ дѣтей показались и взрослые, — мужчины и женщины. Всѣ неслись впередъ, по переулку, съ крикомъ, съ гамомъ, на бѣгу пригибались къ землѣ, схватывали камни и швыряли ими по сторонамъ. Отставъ отъ всѣхъ шаговъ на тридцать, ковыляла хромая старуха. Она была совсѣмъ уже сѣдая, очень тощая и высокая. При каждомъ шагѣ она сильно подавалась влѣво, точно въ поясѣ переламывалась, и казалось, что ей очень больно ступать, и что вотъ вотъ она упадетъ. Но она не падала, бѣжала впередъ, за другимя, все больше и больше отставая. Красный платокъ сползъ съ ея головы на плечи, сѣдя косички распались и тонкими косами развѣвались по вѣтру. Она бѣжала, переламываясь, и старымъ, хриплымъ, злымъ и жалобнымъ голосомъ, давясь, кричала:

— Да суды же, суды!.. Да куды жъ вы?.. Да лучше же суды...

Ее не слушали ни ребяташки, ни взрослые; всѣ бѣжали, дальше, впередъ, — и старуха тоже бѣжала. Ярко сверкаль подъ затылкомъ ярко-красный платокъ, сѣдые волосы змѣились на немъ, и она бѣжала, отставшая, и жалобно, со слезами и злясь, звала, спотыкаясь:

— Да суды же, суды... да лучше же суды...

И потомъ скрылась, — послѣдняя.

— Ушли! — съ дикой радостью закричалъ вдругъ Абрамъ, оторвавшись отъ щели и схвативъ Розу за руку. — Насъ не замѣтили, ушли.

Онъ припалъ къ свѣтлой головѣ дочери и сталъ осыпать ее поцѣлуями.

— Ушли... ушли... Дитя мое... дочечка моя... Господь спасъ насъ, Господь защитилъ насъ! У насъ крѣпкій Богъ... У насъ крѣпкій и праведный Богъ...

— Чего ты кричишь? — сердито отозвалась изъ комнаты очнувшаяся Хана. — Что это за новыя моды такія, чтобы кричать!

Абрамъ замеръ, вытаращилъ глаза и положилъ палецъ на губы.

— Шш... тише... — прошепталъ онъ. —

Пусть она не знаетъ, пусть ничего не знаетъ.

— Роза, отчего ты не пойдешь прогуляться? — недовольнымъ тономъ сказала больная. — Цѣлый день дома... Надѣнь новую форму, походи, пройдишься.

— Я пойду, мама.

— Пойди. Одѣнься и иди...

Во дворѣ, подъ самымъ окномъ, прокатилась громкая ругань Потомъ свистъ пронесся, топотъ... Что-то гулко ухнуло, раздался звонъ, крикливый плачь разбиваемыхъ стеколъ. Нѣсколько камней и деревянныхъ обломковъ черезъ окно влетѣли въ комнату, ударились въ стѣну и упали на комодъ, гдѣ стоялъ подносъ со стаканами и блюдами. Красный, съ чернымъ закоптѣлымъ краемъ кирпичъ, мягко шлепнулся на постель Ханы. И показалось въ окнѣ нѣсколько чужихъ фигуръ, весело и яростно ругавшихся...

Роза изъ сѣней метнулась въ комнату.

— Мама!.. Мама моя, мама!

Она бросилась къ матери, на полъ, обвинила тонкими руками ея неподвижныя, налитыя водой, умершія ноги, и щекой крѣпко прижалась къ колѣнямъ. И надъ чернымъ хаосомъ

мъ звона, визга, треска, рева, лязга, надъ побѣднымъ рычаніемъ свирѣпѣвшихъ звѣрей, какъ одинокая чайка надъ клокочущимъ моремъ, билась, сверкая, дѣтская мольба:

— Мама моя... не трогайте маму... маму...

# XII

## 1.

**Ш**ель. Шель, расширяясь, изъ улицы въ улицу, изъ дома въ домъ, изъ сердца въ сердце, шель черезъ людей, опустошающій, и всѣхъ, тысячерукій, ровняль: банкира съ нищимъ, младевца съ ветхимъ, съ несчастнымъ побѣднаго, притѣснителя съ рабомъ, — всѣхъ, какъ смерть, ровняль, и всѣхъ топиль въ бездонномъ ужасѣ. Не разверзалась земля, не спускалась огневая десница съ небесъ, не вступался Господь, и все, что въ нихъ было нечистаго, злого и мрачнаго, исторгнулъ изъ нѣдръ своихъ адъ и влилъ челоуѣку въ душу. И несся челоуѣкъ чернымъ дьяволомъ, какъ темное проклятiе смерти, и смерть сѣяль, и сѣяль муку, — муку, какой не знала земля.

Цѣпенѣли евреи, застывали, и выраженiе дикое стояло въ мутныхъ, въ угасшихъ глазахъ. Не разговаривали, не двигались, не дышали... Потомъ, вдругъ, неизвѣстно почему, — отъ шопота, отъ шороха, отъ вздоха, отъ тѣни мелькнувшей, дикій вопль поднимался, бро-

сались бѣжать, на бѣгу падали, валились съ лѣстницъ, летели съ балконовъ...

Но никто не преслѣдуетъ, никто не бьетъ... И убѣдившись, что тревога на этотъ разъ ложная, люди быстро стихали, снова сходились въ тайныя убѣжища свои, и опять только подавленные вздохи звучали, и только слышался неровный бѣгъ замиравшихъ сердець.

И такъ были всѣ неподвижны, безмолвны и блѣдны, что, казалось, не живые люди, а выходцы изъ могилъ сидятъ, и было странно, что видишь живыя одежды, а не бѣлыя складки истлѣвшаго савана... Темныя искры безумія ложились на лица, и боясь его, и чтобы не видѣть его, люди отворачивались другъ отъ друга, смотрѣли въ сторону, закрывали глаза. Но и съ закрытыми глазами, но и черезъ опущенныя вѣки видѣли, чувствовали, ясно и рѣзко чувствовали холодный налетъ помѣшательства, — и на собственномъ я на чужомъ лицѣ, — и минутами, страхъ передъ нимъ и страхъ передъ тѣмъ, что должно свершиться, дѣлался такимъ нестерпимымъ, что ужъ являлось жадное желаніе сойти съ ума поскорѣе, что укрыться въ черной пучинѣ

безумія хотѣлось сейчасъ же. И о самоубійствѣ ласкала душу упорная мысль, и о собственноручномъ убійствѣ дорогихъ и близкихъ людей...

Дрожать уже прочныя стѣны. Пришелъ ужъ кровавый разливъ. За окномъ онъ... И смотритъ безмолвно молодая мать на своихъ дѣтей, и безмолвно взывая къ Богу, — или въ изступленіи Его проклиная, — прощается съ ними. Мать ли убьютъ, дѣтей растерзаютъ ли, всѣхъ ли вмѣстѣ зарубить уже красный топоръ?..

И въ послѣдней заботѣ о дѣтяхъ, мать кладетъ дѣтямъ въ карманы хлѣбъ: если спасутся, убѣгутъ, если нужно будетъ скрываться, гдѣнибудь одиноко таиться — за городомъ, въ плавняхъ, въ заросшемъ оврагѣ, въ щеляхъ прирѣчныхъ обрывовъ, пусть не задушитъ ихъ голодъ...

Но можетъ быть поздно? Но можетъ быть смерть?

И нужно предстать предъ Господомъ?

Со страннымъ спокойствіемъ ставитъ еврейская мать свое дитя на столъ, обмываетъ ему лицо, расчесываетъ неторопливо свѣтлые

волосы, надѣваетъ на него чистую рубашку, и тихимъ, ровнымъ голосомъ читаетъ ему предсмертную молитву. «Скажи, мой первенецъ, предсмертную молитву». И дитя съ расчесаными свѣтлыми волосами повторяетъ за матерью предсмертную молитву.

## 2.

Въ этотъ день Пасхаловъ съ утра сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ и даже къ чаю не вышелъ въ столовую. Онъ весь поглощенъ былъ странными мыслями объ искупленіи. Какое будетъ оно, въ чемъ именно должно оно заключаться, это искупленіе, — онъ не зналъ. Но чудился выходъ, доброе разрѣшеніе. «Грѣхъ народа своего понесешь ты»... Блѣдное лицо становилось спокойнымъ и негрустнымъ, — только очень серьезнымъ было оно, очень задумчивымъ. Куда-то кверху обращались глаза, къ небу, къ его тайнымъ глубинамъ, къ лучезарному молчанію его... Сердце билось ровно и тихо, исчезалъ страхъ, замирала тоска. Одѣтыя солнцемъ, вѣжно сіяли свѣтлыя стѣны церкви, синій куполь ея сливался съ синей безгрѣшностью неба, а золотой крестъ наверху струилъ въ своихъ



бѣлыхъ лучахъ и ласку, и миръ, и увѣренность... «Грѣхъ народа твоего понесешь ты»...

Онъ думалъ о томъ, что дѣлается въ городѣ, объ Абрамѣ и его семьѣ, и ему было страшно, что ихъ убьютъ. Онъ думалъ: не нужно, чтобы ихъ не убили, это будетъ нехорошо, если ихъ не убьютъ. Во всей безмѣрности ужаса пусть свершится грѣхъ, — и полнѣе будетъ искупленіе.

Все наверхъ смотрѣлъ онъ, на небо, на бѣлѣвшій въ немъ лучистый крестъ, — и лучиться начинало изможденное лицо его, и его глаза. Чистый пламень молитвеннаго умиленія вспыхивалъ въ нихъ, и радостную благодарность Богу тихо шептали уста.

Но потомъ опять налетали черныя тѣви и ложились на лобъ. Опять выраженіе страданія являлось, и онъ тяжело вздыхалъ. Мысли простыя, жесткія, какъ правда, и свѣтлыя, какъ правда, становились передъ нимъ, и отъ нихъ укрыться ужъ нельзя было. Весь этотъ нелѣпый и дикій вздоръ о какомъ-то искупленіи навѣянь старой поповской закваской. Отецъ священникъ, и дѣдъ свя-

ценникъ, и съ дѣтства видѣли глаза, такъ близко, все эти же церковныя стѣны. Наталья права: онъ слишкомъ близокъ къ церковнымъ стѣнамъ. Несмѣлый духъ его, лишенный силъ, бродилъ межъ нихъ, все межъ нихъ, и, уходя, уйти не могъ, и, освобождаясь, не могъ освободиться... Теперь, въ червый день нестерпимыхъ страданій, онъ рабски припадалъ къ старой лжи, и отъ нея ждетъ избавленія. Зловредный сумракъ брошеннаго храма вотъ снова стелется въ малой и слабой душѣ, и ее покоряетъ. Съ приподнятаго креста упаль обманный лучъ, и гниль холоднаго мрака убралъ пагубной фальшью смиренія и мертвящими брызгами елея... Какую ненависть, какое безмѣрное презрѣніе, какой страстный гнѣвъ должны вызвать въ Натальѣ всѣ эти изувѣрскія мысли объ искупленіи!.. И никогда, никогда не осмѣлился бы онъ высказать ихъ ей, и ему самому они глубоко противны и ненавистны.

### 3.

Когда долетѣли до Пасхалова первые всплески разлива, и ударилъ его въ сердце первый крикъ избиваемыхъ, — онъ медленно

сталь, и, закрывъ глаза, съ минуту постоялъ безъ движенія, прислушиваясь... Потомъ неторопливо, жестомъ разбитаго, больного чиловѣка, взялъ шляпу и вышелъ.

— Ты куда же это, Федя! — перегородила ему дорогу Арина Петровна.

Пасхаловъ сдѣлалъ шагъ вправо и обошелъ мать. Но Арина Петровна, пятясь, все преграждала ему путь и съ мольбой, повышая голосъ, твердила:

— Не ходи ты туда... Федя, родной мой, не ходи!.. Христось съ тобой... Что ты затѣялъ?.. Не ходи!..

Федоръ Павловичъ, ничего не отвѣчая матери, шелъ къ калиткѣ, а черезъ минуту шагаль уже на улицѣ, вдоль церковной ограды.

Въ воздухѣ носились далекіе крики, далекое глухое уханіе, и слышались порою одинокіе выстрѣлы. Пасхаловъ шелъ медленно и какъ-то странно напрягаясь плечами и грудью. Точно грозные звуки эти образовывали густую, плотную среду, и въ ней ходить было — какъ въ морѣ въ день зыби... Временами, когда долеталъ крикъ особенно отчаянный и горькій, онъ останавливался, отшаты-

вался, — какъ если бы плывшее навстрѣчу невидимое бревно съ силой ударяло его въ грудь.

«Къ нимъ... къ Абраму... защитить... спасти надо!..»

И вдругъ онъ бросился бѣжать.

Но онъ бѣжалъ недолго.

За угломъ, на Рождественской улицѣ, громили...

Уже бѣлой была мостовая отъ перьевъ, уже усѣяна была она обломками мебели, и на синемъ фонѣ неба странно раскачивалась и вздувалась вѣтромъ выброшенная изъ третьяго этажа и зацѣпившаяся за телеграфную проволоку розовая юбка. Грохоть стоялъ, звонъ, лязгъ, дикое, радостное гоготаніе...

— Что вы дѣлаете!.. Несчастные... проклятые... что вы дѣлаете!

Съ лицомъ безумнаго, поднявъ кверху руки, Пасхаловъ врѣзался въ толпу.

— Проклятые... звѣри... несчастные!

— Ребята, лови люльку!..

Въ окнѣ третьяго этажа показался Кочетковъ. Откинувъ голову, скаля зубы и показывая свою крѣпкую юношескую шею, онъ под-

нималь надъ головой, колесами вверхъ, бѣлую дѣтскую колясочку.

— Тихонъ... Тихонъ!..

— Лови, братцы!.. Жиденка унесли, да мы — ничего: сейчасъ и его сыщемъ... Лови!

Полетѣли, кружась, двѣ маленькія подушки и бѣлое одѣяльце, и тотчасъ за ними, сверкая лакомъ, описала въ воздухѣ широкую дугу дѣтская колясочка.

... Громко рыдалъ Пасхаловъ, задыхаясь; онъ что-то дико кричалъ, размахивалъ руками, руками схватывалъ людей за плечи и сильно ихъ трясъ...

— Да треснуть его, сукинаго сына, по башкѣ,- проревѣлъ веселый голосъ. — Демократъ это... жидъ... Бей его, хлопцы!

— Кого бить, бісова таракуцка? — вразумительно сказалъ подворотній Трохимъ, ограждая своимъ тѣломъ сбитаго съ ногъ Пасхалова. — Чи ты сбисывся?.. А ще городской!.. цежь дохторъ, Хведоръ Павловичъ, отца Павла сынъ...

Отстраняя грудью людей и расталкивая ихъ руками, онъ озабоченно добавилъ:

— Звощика надо, та до дому!

# XIII

## 1.

— Маму... маму... не трогайте маму!.. Однимъ и тѣмъ же, немѣняющимся, ровнымъ, дикимъ, полнымъ смертельнаго ужаса голосомъ кричала Роза. И было непонятно, что такъ кричить, что такъ можетъ кричать человѣкъ, худенькая дѣвочка, тринадцати лѣтъ. Жуткая и опасная тайна была въ этомъ, грозное дѣйствіе нездѣшнихъ силъ, — и ледяное вѣяніе ихъ проходило острой сталью по сердцу, по спинѣ, — даже у громилы.

— Та цыть, не ори, горло проклятое!

И цѣлая туча мелкаго щебня и тяжелыхъ камней посыпалась изъ-за окна въ комнату, на полъ, на вещи, на людей. Звонъ раздался, дробный трескъ, и мягкое, сдержанное шлепаніе.

— Ой! что это? — вскрикнула Хана. — Обваливается... потолокъ обваливается... домъ валится... Абрамъ, валится домъ... Я говорила...

Абрамъ бросился къ окну, гдѣ уже не бы-

ло стекло, а торчали одни лишь острые осколки, протянулъ поперекъ его; какъ распятый, руки, и задыхаясь, и обливаясь слезами, сколько силъ было, завопилъ:

— Я васъ прошу... я васъ какъ Бога прошу... уйдитъ, не трогайте... Здѣсь больная... здѣсь умираетъ... женщина умираетъ... Какъ Бога прошу, какъ Бога... дайте умереть...

По ту сторону окна, во дворѣ, впереди всѣхъ, держась окровавленными пальцами за переплетъ окна, въ розовой бумазейной рубахѣ, въ синемъ жилетѣ съ двумя рядами металлическихъ пуговокъ, стоялъ растрепанный, тщедушный и какой-то искривленный мужичонка, незначительный и сѣрый. Ничего звѣрскаго, разбойническаго въ немъ не было. Маленькій, вздернутый, дѣтскій носъ, желтоватая, вялая бороденка, узкіе глаза, сѣрые, весело улыбающіеся... Абрама человекъ этотъ зналъ много лѣтъ, и его Абрамъ тоже зналъ хорошо, и въ лѣтній зной часто подходилъ къ его кваснѣ на привозной площади, выпить на копейку хлѣбнаго квасу. — «Кабы не вашъ, Микита, замѣчательный квасокъ и съ ледомъ, — гово-

рилъ онъ, вѣжливо улыбаясь, — то по такой жарюкѣ таки можно очень хорошо раста-  
ять». — «Квасъ дѣло Божье, — съ такою же  
дружелюбной и довольной улыбкой отвѣчалъ  
Никита, — человекѣ на прохлажденіе. Про-  
хлаждается внутренность...»

Теперь на сѣро-желтомъ, мятомъ лицѣ  
Никиты было радостно хлопотливое  
выраженіе, — точно подошла большая и щед-  
рая компанія къ его кваснѣ и потребовала  
сразу полдюжины бутылокъ «боярскаго»,  
по гривеннику за бутылку... Но и легкую  
примѣсь озадаченности выражало оно, и ка-  
кая-то тѣнь удивленія, тѣнь неясной досады,  
мелькала въ его глазахъ, пока онъ смотрѣлъ  
на молившаго Абрама и на то, что дѣлается  
позади него.

— Ай уйти, ребята? — медленно повернулъ  
онъ назадъ голову. — Въ другое мѣсто куда...  
Жидовъ много...

И уже. упала рука его съ переплета окна...  
Но, что то остро сзвязгнуло, порвалось, гукну-  
ло, упало, нѣсколько человекѣ толкнули Ни-  
киту, навалились на его спину, и онъ, вмѣстѣ  
съ сорвавшейся гнилой рамой, бухнулся,



сперва на подоконникъ, а потомъ на полъ. Въ окно, одинъ за другимъ, стали прыгать люди. Отброшенный къ комоду, Абрамъ снова метнулся впередъ, загораживая руками дорогу къ Ханъ, и вопилъ:

— Какъ Бога... какъ Бога прошу...

— Идолъ!.. Просишь?..

Большая, жилистая, обнаженная до локтя, пороошая черными волосами, рука схватила съ комода сапожную колодку, взвилась кверху и колодкой, задкомъ ея, ударила Аброна между глазъ. Раздался короткій, сухой трескъ, точно наступили каблукомъ на скорлупу орѣха. И красное вдругъ брызнуло, сверкнуло, и быстро потекло внизъ... Рука взвилась опять, и опять раздавилъ каблукъ скорлупу, — уже другую и еще мельче... Абрамъ покачнулся. Онъ протянулъ впередъ руки и судорожно ими замахалъ. Онъ подался было въ сторону, но въ третій разъ слышался короткій трескъ падавшей на обнаженный черепъ колодки... И безъ звука, безъ стопа, Абрамъ свалился.

На спину свалился, и лицо его, съ открытымъ и молчавшимъ ртомъ, все залитое крас-

нымъ, очутилось между комодомъ и стуломъ, а глаза направлены были къ потолку... Цѣлый ворохъ вещей, и обломковъ вещей, въ минуту наваленъ былъ на неподвижно лежавшее тѣло, на красную, быстро расширяющуюся лужу у головы; и по ногамъ Абрама, по груди его и по лицу метавшіеся въ квартирѣ громилы ступали, какъ по вещамъ...

— Что такое?.. Что тутъ дѣлается? — вопила Хана.

Голова ея властною рукою болѣзни прикована была къ плечамъ, какъ стальными лапами, и повернуть голову женщина не могла. Она не могла двигать и глазами, и глаза смотрѣли только прямо впередъ, по двумъ неизбѣннымъ, какъ телеграфныя проволоки вытянутымъ лиеіямъ, и то, что дѣлалось по сторонамъ, ей плохо было видно.

— Грабители... разбой... это разбой...

И пока изъ-подъ нея рвали нодушки, и выпускали изъ нихъ пухъ, пока ломали мебель, били посуду, и въ бѣшеномъ весельѣ, со свистомъ, ревомъ, хохотомъ, гиканьемъ, разбрасывали сапожниціей инструментъ и заготовленную для почивки старую обувь, Роза лежа-

ла на полу и, прижавшись головой и грудью къ ногамъ больной, рыдала.

— Маму... маму... не трогайте маму...

Долговязый парень, скуластый, узкогрудый, босой, и въ засученныхъ штанахъ, съ на-  
двинутой на самыя брови свѣтло-сѣрой мер-  
лушковой шапкой, подбѣжалъ къ Ханъ и,  
сильно размахнувшись, ударилъ ее въ лицо,  
сбоку, по щекѣ... И Хана не пошевелинулась и  
не вздрогнула. Неподвижная оставалась она,  
какъ стѣна, какъ огромный желѣзный цилин-  
дръ, доверху налитый водой, и не поднялись  
ея руки, — ни для мольбы, ни для инстинк-  
тивной самозащиты. Мертвья, не шелохну-  
лись руки... И скуластый парень не понялъ.  
Съ изумленіемъ смотрѣлъ онъ на человѣка,  
который, какъ каменный столбъ, какъ свая,  
недвижнымъ сидитъ подъ ударами...

Странно смущенный, и въ то же время какъ бы чѣмъ-то неизвѣстнымъ обиженный, во  
внезапно нахлынувшей тупой ярости, со-  
рвалъ онъ вдругъ со стѣны зеркало, уже раз-  
битое, высоко поднялъ его обѣими руками  
надъ головой и, какъ топоромъ при рубкѣ  
дровъ, замахнулся на Хану.

Тогда Роза быстро поднялась съ пола, стала между матерью и громилой, къ нему лицомъ, вся вытянулась, сильно вытянула кверху обѣ руки и начала молить:

— Не убивайте.... не бейте!..

Парень смотрѣлъ на нее въ мгновенномъ замѣшательствѣ.... И вдругъ Роза высоко подскочила, вцѣпилась громиль въ поднятыя руки, пониже локтей, и такъ на немъ повисла. Маленькая, она не касалась ногами пола и изо всѣхъ своихъ силъ трясла парню руки, въ надеждѣ выбить изъ нихъ тяжелое зеркало, въ надеждѣ спасти свою мать....

Раза два зеркало нагнулось, вправо, влѣво; оно выскользнуло потомъ и съ тонкимъ лязгомъ грохнулось на грудѣ обломковъ, позади парня. Руки его тогда опустились, и Роза упала на полъ.

— Не трогайте... не трогайте маму...

... Кругомъ ломали, рвали, горланили. Сыпались ругательства, хохотъ раскатывался, рвалъ воздуть острый свистъ.... А скуластый парень стоялъ неподвижно противъ Розы, молчалъ, пріоткрывъ ротъ, и на нее смотрѣлъ.

Маленькая.

Тоненькая.

Бѣлая...

Бѣлое, нѣжное лицо и бѣлая дѣтская шея, обнаженная въ борьбѣ... бѣлая кофточка на узкихъ плечикахъ, на едва замѣтныхъ выпуклостяхъ юной груди... И свѣтлые волосы, длинные, густые, рассыпались по плечамъ....

Ротъ парня скашивался, зубы оскаливались...

И все молча смотрѣлъ онъ, — на нее, на маленькую, на худенькую, съ обнажившейся въ борьбѣ дѣтской бѣлой шеей, на тонкую, бѣлую дѣвочку молча смотрѣлъ онъ.

## 2.

... Парень схватилъ Розу подѣ мышки, отдѣлилъ ее отъ пола, поднялъ въ уровень своихъ плечъ и бросился въ сѣни.

И маленькая, тоненькая, вся бѣлая, билась Роза въ рукахъ парня и трепетала, — какъ въ бурю трепещетъ покрытая цвѣтомъ юная ѣтка яблони. И здѣсь Хана поняла...

— Иду!

Обѣ руки больной крѣпко нажали кровать, и женщина качнулась.

— Иду!

Она качнулась опять.

— Иду!.. Иду!..

И чудовищная, неестественная, похожая на человѣка форма, долгія недѣли не шевелившая ни однимъ мускуломъ, сразу теперь встала и пошла.

— Иду!

— Мм... мма... мамма!..

— Иду!.. Иду!..

На опрокинутомъ и разбитомъ комодѣ, среди непонятной кучи поломанныхъ изувѣченныхъ вещей сверкало продолговатое лезвіе остро-отточенного, до половины обмотаннаго кожей, сапожницкаго ножа. Хана взяла ножъ, зажала въ рукѣ, - и теперь мертвые пальцы слушались....

Она шла.

Она перешла уже черезъ всю комнату....

Но здѣсь летѣвшій изъ кухни самоваръ ударилъ ее въ животъ...

Раскрывъ ротъ и странно ахнувъ широко, низкимъ звукомъ, больная замотала головой, качнулась и, какъ сброшенная съ пьедестала бронза, рухнула у порога, на ноги непо-

движнаго Абрама.

— Иду!.. — рычала она, сжимая въ рукѣ ножъ:- иду!..

Но уже не шла. Она лежала неподвижно, какъ огромный, тяжелый кулъ, свалившійся съ воза, и захлебываясь, продолжала рычать:

— Богъ! Богъ!.. Гдѣ же ты, Богъ!..

И то, что дѣлали съ ея дочерью, совершалось въ полуаршинѣ отъ нея.

### 3.

Толпа ушла. Въ квартирѣ стало совершенно тихо.

Абрамъ, почти совсѣмъ оголенный, брошенъ былъ на обнаженное тѣло дочери. Хана лежала тамъ же, гдѣ свалилась, и въ ротъ ей вдавлена была отрѣзанная, залитая кровью, грудь дѣвочки.

## XIV

Еще пятьдесятъ часовъ длился погромъ. А потомъ, когда онъ прекратился, началась страшная работа.

Начали разыскивать и подбирать убитыхъ людей и недобитыхъ, и остатки людей, отрѣзки, — руки, уши, ноги, груди. Тѣла, съ вколоченными въ нихъ гвоздями, еще дышавшія и уже застывшія, подбирали. Обгорѣлые трупы и раздавленные; внутренности, вырванныя изъ утробы, и мертвецовъ съ пустою утробой. Въ одиночку лежали мертвецы и цѣлыми семьями, отцы на дѣтяхъ, съ братьями сестры, подлѣ слугъ хозяева, посинѣлые, багрово-черные, вспухшіе, раздутые, въ липкихъ лужахъ гнилой крови. Лежали, гдѣ засталъ ударъ, на лѣстницѣ, въ чуланѣ, въ печкѣ, на коврѣ, у остатковъ фортепьяно, — и тамъ лежали, куда успѣли отползти, осыпанные ударами, полуживые. Лежали лицомъ къ землѣ, въ зловонной грязи, и глазами кверху, къ вѣчному небу. Или на мертваго смотрѣлъ мертвецъ — тусклымъ окомъ, странно протянувъ свои переломан-



ныя руки. Уже стоялъ запахъ, уже источали трупы клейкую жидкость, и лопалась на лицѣ кожа и облѣзала... Встрѣчались лица тихія, нѣжно-блѣдныя, глубоко-спокойныя, съ глазами прикрытыми, — какъ для нѣжной мечты; и рядомъ виднѣлись искаженные, изувѣченные ужасомъ и болью глаза, — и черные, широко раскрытые рты, въ которыхъ крикъ застылъ кровавымъ чудовищемъ, огромнымъ, какъ горы. Еще звучалъ этотъ крикъ, хотя давно уже окоченѣлъ трупъ, и мучительныхъ переливовъ его не заглушить ни стону морей, ни потокамъ вѣковъ. Дѣтскіе трупики валялись по двое, по трое и больше, — мальчики, дѣвочки, въ дѣтскихъ одеждахъ, въ рубашенкахъ, въ короткихъ по колѣни штаникахъ, въ гимназическихъ курткахъ. Жалобно и грустно бѣлѣли обнаженные тѣльца грудныхъ младенцевъ, и пухлыя ручки, уже пожелтѣвшія, были сведены послѣдней конвульсіей, а межъ маленькихъ пальчиковъ чернѣли кровяныя струйки. Чья кровь? Самого ли младенца? Отъ громилы, неловкимъ жестомъ себя оцарапавшаго, пала она, или пролилась изъ груди матери, лежа-

щей тутъ же, съ перерубленнымъ накрестъ лицомъ?.. Заворочены юбки матери, — верхняя, черная; подъ ней еще одна, тоже черная, и потомъ — красная фланелевая со спиралевиднымъ узоромъ изъ темно-синей тесьмы. Видны ноги, въ червыхъ чулкахъ, и ботинки, одна нога лежитъ на другой, носокъ къ носку, въ профиль, но торсъ выворочень грудью кверху, — должно быть раздроблены въ тазу кости; на груди судорожно скрюченные пальцы лѣвой руки, а правая рука отброшена прочь, и черепъ, отъ самыхъ бровей, отрубленъ. Черное пятно зѣяетъ вмѣсто черепа, и въ срединѣ его смутво сѣрѣетъ что-то, и какъ-будто шевелится... Черви шевелятся... Извивается сброшенный съ крыши истерзанный младенецъ. Стонетъ братъ его, схватываясь холодѣющей рукой за ружейную рану въ животѣ. И хрипитъ, вращая глазами, раздавленная опрокинутымъ пьянино старуха... Мальчикъ лѣтъ шестнадцати лежитъ на мостовой, и на его лицѣ три раны отъ пуль: двѣ въ верхней части, и одна на подбородкѣ. Молодое лицо сохранило выраженіе грозное, выраженіе гнѣвнаго мстителя. Въ мертвыхъ

пальцахъ зажать револьверъ... Душа была затоплена великой любовью и великой ненавистью, и къ смерти съ угрозой пошелъ потомокъ Маккавея. И вотъ, лежитъ онъ, вѣчно-недвижный, и неотомстившій, лежитъ пронизанный пулями казаковъ.

Подбирали во дворахъ, въ домахъ и по улицамъ, убитыхъ и раненыхъ, клали на дроги, на телѣги, и увозили на кладбище, наполняли покойницкія въ больницахъ, и длинными рядами складывали трупы на землѣ, подъ небомъ, противъ длинныхъ рововъ, которые рыли десятки людей. Звенѣли лопаты, взлетали кверху комья земли, сначала черные, потомъ желтые, и росли и возвышались длинные холмы, и росли, удлинняясь, братскіе рвы и могилы...

Непрерывными полосами лились люди на кладбище, и съ него лились. Всѣ лица были странно схожи между собой, — старыя, молодыя, мужскія и женскія, — ибо на всѣхъ на нихъ было одно и то же выраженіе муки, отчаянія и ужаса, и всѣ лица были мокры отъ слезъ. Только на молодыхъ видевахъ былъ порой еще и гнѣвъ, и великая рѣшимость. Въ

борьбѣ пасть!..

Съ темнымъ пламенемъ въ глазахъ стояли дѣвушки у кладбищенскихъ воротъ и юноши, и протягивали къ входившему народу кружки и тарелки, на которыхъ лежали монеты, бѣлыя и мѣдныя. Разоренные, сразу обнищавшіе, на непрерывный голодъ и страданіе осужденные, бросали люди въ тарелки бѣдныя пожертвованія свои, — «для сиротъ убитыхъ», «для раненыхъ», «для самообороны»... Раненые, съ перевязанными руками, съ перевязанными головами, съ лицами блѣдными, какъ и сама перевязка, отдавали случайныя крохи, и шли дальше, къ убитымъ...

Чернымъ было кладбище отъ густыхъ толпъ, чернымъ было оно отъ стѣнаний живыхъ и отъ молчанія мертвыхъ. Бились и рыдали живые, не хотѣвшіе быть живыми, бились и цѣловали мертвецовъ... Съ ужасомъ, съ великой любовью, съ великимъ отвращеніемъ, припадали къ смраднымъ рядамъ разлагавшихся труповъ, и кричали крикомъ безумныхъ, и съ мукой нездѣшной... И тотъ, который изъ многочисленной семьи одинъ уцѣлѣлъ, и

тотъ, который изъ родныхъ никого не потерялъ, — всѣ въ трепетѣ рыдали и бились, и бросались въ судорожныхъ корчахъ на землю, раздирали землю руками, и грызли, и вскакивая, ломали руки, рвали на себѣ волосы, и били себя по головѣ, и по лицу... И еще, и еще подвозили убитыхъ. Свисали съ дрогъ руки и ноги, и стучали головы объ дно фургоновъ, и кровавый слѣдъ стлался за бѣжавшими колесами, — до воротъ кладбища, и по кладбищу, по аллеямъ его. Не хватило черныхъ носилокъ, и по два трупа на носилки укладывали люди, спѣшно отвосили ихъ изъ покойницкихъ, — туда, къ длинному ряду мертвецовъ, противъ длинныхъ могилъ. Толпа отливала за носилками, рыдая, а потомъ возвращалась опять, опять вдавливалась въ покойницкія, опять снаружи облѣпляла окна ихъ, и двери, и ступеньки... Разыскивали своихъ. Не находили ихъ дома, не встрѣчали среди живыхъ, и въ нестерпимыхъ конвульсіяхъ, опережая себя мыслью, опережая мысль собой, съ пламенемъ горячки въ глазахъ, бросались по больницамъ, мчались на кладбище, и тамъ искали, и распознавали тамъ. Поднимали

окровавленный брезентъ, покрывавшій мертвецовъ, и распознавали... Уже измѣнялись черты покойниковъ, многія лица были изувѣчены топорами и ломами, и узнавать по лицу нельзя было. По одеждѣ узнавали, по обуви. Раздирающіе крики стояли надъ молчавшими рядами убитыхъ, и узнавшіе падали къ ногамъ мертвецовъ, полумертвыми падали, безъ словъ, безъ движенія, безъ чувства!..

И это былъ свѣтлый эдемъ, когда они лежали безъ словъ; безъ движенія, безъ чувства...

Но сбѣгало онѣмѣніе, но вновь приходило проклятое сознаніе, но возвращалась живая мысль опять. Смерть. Смерть. Смерть.

Такъ было огромно-дико и невѣроятно все свершавшееся, что отказывалась вѣрить душа, и приходили въ голову странія мысли: казалось, что это только кошмаръ, что больное это видѣніе, что разсвѣтается оно, — должно сейчасъ разсвѣтаться и сгинуть, — и все опять пойдетъ попрежнему, по старому... Вотъ эти, молча лежащіе, встанутъ сейчасъ, сбросятъ окровавленный брезентъ съ себя и уйдутъ.

Матери возьмутъ за руку своихъ дѣтей, обопрутся на свои палки сѣдые старики и пойдутъ, каждый въ свою сторону, по своему дѣлу...

Но мигъ проходилъ, и часъ проходилъ, и къ сумеркамъ день склонялся, и не исчезало жестокое видѣніе. Лежали съ убитыми дѣтьми убитыя матери, убитые старики лежали и старухи, и сильные юноши, и дѣвушки-невѣсты. Смерть. Смерть. Смерть.

И казалось порой, что пока рыдаютъ и стонутъ живые, безмолвную, имъ однимъ слышную, бесѣду ведутъ эти недвижные, накрытые брезентомъ люди. Сурово осуждаютъ плачущихъ, — за то осуждаютъ и винятъ, что не защитили ихъ, не спасли, не оградили отъ жестокихъ мученій... Съ холоднымъ укоромъ смотрятъ остеклѣвшіе глаза, и въ сѣрой тусклости ихъ, въ окаменѣніи членовъ всѣхъ, чудилось что-то сознательное, умышленное, затаенное и гордое, — величавое пренебреженіе къ недостойнымъ чудилось...

Но и это утѣшеніе проходило. Но таяла и эта мечта.

Нѣтъ безмолвныхъ осужденій, и нѣтъ пре-

зрительнаго укора, ничего нѣтъ, кромѣ ряда холодныхъ тѣлъ, недвижныхъ, умолкшихъ, навѣки умолкшихъ. Смерть. Смерть. Смерть.

И тѣ, которые ходяли по кладбищу и здѣсь рыдали, и рыдая рыли длинныя братскія могилы, съ удивленіемъ смотрѣли другъ на друга. Вы живы? но будете ли живы и вечеромъ? Разгромъ развѣ окончился? Не стануть ли избивать снова, не придутъ ли и сюда? Вѣдь всѣхъ сразу изувѣчатъ, всѣхъ, кто стоитъ здѣсь и плачетъ, и не въ эту ли могилу, которую копаю теперь, будетъ сброшенъ и мой истерзанный трупъ?.. Смерть. Смерть. Смерть.

И уже звали ее: приди, избавительница! Благослови холодной рукой, на вѣчную тьму!.. При видѣ недобитыхъ, при взглядѣ на недомученныхъ, въ страстныхъ вопляхъ неустанно звали ее, радостную, сладкую; точно Богу-Творцу униженно кланялись ей, и чернаго дыханія ея просили, какъ пощады, — для себя, для близкихъ, для чужихъ. У нея искали прибѣжища, — и у Бога.

Сидитъ на землѣ, у ряда труповъ, дѣвочка, и обративъ испуганное лицо къ небу, лепечетъ:



четь: — Боже мой... Боже мой великій... А хромой ветхій нищій, который проходитъ мимо, въ ярости схватываетъ дѣвочку за оба плеча, весь трясясь — отъ муки, отъ гнѣва, — стучитъ бѣшено костылемъ въ землю и неистово кричитъ: — Не говори ты съ Нимъ!.. Уйди отъ Него!.. Онъ отступникъ, Онъ предатель, Онъ вѣковѣчный мучитель людей... Я семьдесятъ лѣтъ вѣрилъ Ему!.. Я любилъ Его, я служилъ Ему, я молился Ему въ святыхъ одеждахъ, я все отдалъ Ему, что было у меня лучшаго, я душу мою Ему отдавалъ!.. Тысячи лѣтъ мы вѣримъ Ему, — больше не нужно, люди!.. Больше не смѣйте теперь!..

Въ изнеможеніи онъ падаетъ на влажный холмъ, у длиннаго рва. Его костыль соскальзываетъ въ неготовую еще могилу, руки глубоко вонзаются въ сырой и рыхлый бугоръ, и желтые комья глины, сверкая, катятся назадъ, въ яму.

— Возьми-жъ къ себѣ,- беззвучно молить старикъ, прижимаясь лицомъ къ землѣ:- хоть ты прими.

Но не приходитъ она, желанная, свѣтлая, радостная, — все не приходитъ, хоть и страст-

НО зовешь ее:... Смерть! Смерть! Смерть!

# XV

## 1.

Съ утра бродилъ по городу Пасхаловъ, по сразгромленнымъ, опустѣвшимъ дворамъ, входилъ въ квартиры, гдѣ все — вплоть до подоконниковъ, обоевъ на стѣнахъ и замковъ на дверяхъ — было изорвано, изломано, раздроблено... Были блѣдныя лица, были тихія рыданія, были мертвыя, ненужныя слова... И самъ онъ тоже былъ блѣдень, и самъ, порою, тихо плакалъ, и самъ говорилъ, — и другимъ, и себѣ,- безцѣльныя, лишнія слова.

... На головѣ его была бѣлая перевязка; его лицо было искажено, какъ и всѣхъ, кто ходилъ и стоялъ здѣсь, на черномъ кладбищѣ, и слезы текли по лицу его, долго текли. Потомъ слезъ не стало. И съ красными, распухшими глазами онъ все бродилъ по кладбищу, отъ группы къ группѣ, отъ рядовъ убитыхъ къ длинному, все выроставшему рву, куда убитыхъ положить... Къ дрогамъ, привозившимъ трупы, подходилъ, и внимательно оглядывалъ трупы, пока ихъ снимали съ дрогъ и укладывали на землѣ, рядами. Къ рыдавши-

мъ матерямъ подходилъ, и къ дѣтямъ, оцѣпенѣло и молча стоявшимъ передъ трупами родителей, — и такъ смотрѣлъ на нихъ, какъ если бы все горе, и весь ужасъ, и всю муку ихъ сердца въ свое хотѣлъ перелить сердце... И молчалъ, и тихо дрожалъ. Уходили люди и приходили другіе, зарывали убитыхъ и приносили новыхъ; стоялъ немолчный гулъ рыданій, стоновъ, воплей... Какъ въ шахтѣ, насыщенной ядовитыми газами, здѣсь нельзя было оставаться долго, а онъ оставался. И тяжелая отравка проникала въ него, въ сердце его и мозгъ, и мозгъ тяжелѣлъ и мутился.

## 2.

— Такъ я и зналъ, что найду тебя здѣсь!

Въ толпѣ протискивался Васильковскій. Какъ всегда, изящный и статвый, въ сѣромъ, съ пышно взбитыми усами. Но здоровый румянецъ на щекахъ потускнѣлъ, и въ глазахъ выраженіе мрачной печали... Онъ пошелъ рядомъ съ Пасхаловымъ и нервно надвигалъ на носъ золотое пенснэ, а сѣрую шляпу надвигалъ на пенснэ.

— Я не представлялъ себѣ, чтобы это такъ вышло, — глухо проговорилъ онъ.

Потомъ шель молча, останавливаясь, гдѣ останавливался Пасхаловъ, и снова начиная ходить, когда шель тотъ.

— Федоръ! — нерѣшительно сказалъ онъ наконецъ. — Можетъ быть... уйдемъ уже... Здѣсь... нельзя долго оставаться... я чувствую...

Противъ ожиданія инженера, Пасхаловъ сказалъ:

— Идемъ.

Они вернулись домой. Обѣдали вмѣстѣ, и отецъ Паведъ во время обѣда былъ грустенъ и вздыхалъ, а Арина Петровна сдержанно суежилась, бросала на Васильковскаго благодарныя взгляды, и сыну совсѣмъ не надоѣдала... Потомъ, когда Пасхаловъ ушелъ къ себѣ, она дала волю своимъ чувствамъ, слезамъ и языку, проклинала страшными проклятіями Мосейку, евреевъ, говорила, что съ ними со всѣми сразу надо бы покончить, солдатъ противъ нихъ послать, — батальонъ, два батальона, полкъ, — и солдаты пусть ходятъ изъ квартиры въ квартиру, и гдѣ еврейская душа, такъ сейчасъ и убить. Васильковскій, досадливо морщась, останавливалъ тетку, и слово-

мъ хмурымъ, и словомъ шуточнымъ, но она только сильнѣе распалялась, а о. Павелъ, котораго коробили ея слова, не отваживался высказаться, и только жеваль губами и временами вздыхаль...

Часа въ четыре Пасхаловъ опять ушелъ на кладбище, и оставался тамъ до вечера, пока заперли калитку. И утромъ на другой день, очень рано, первый входиль въ кладбищенскія ворота, и часовъ до одиннадцати бродиль, ожидая чего-то. Чего? Онъ зналь: Абрама, Хану, Розу...

Ихъ не привозили.

И около полудня Пасхаловъ пошелъ къ нимъ, въ больницу.

Подворотній Трохимъ встрѣтилъ его необыкновенно дружелюбно, радостно, и долго поздравляль «съ поправленіемъ здоровья». Онъ низко кланялся, и при этомъ снималь съ головы уже не самодѣльную, похожую на боченокъ шапку, а богатую бобровую шапку съ синеватымъ бархатнымъ верхомъ

Въ больницѣ были безпорядокъ и суета, приввзено было много раневыхъ, и у воротъ толпились люди, родные, добивавшіеся впус-

ка. Волновался и юлилъ фельдшеръ Небесный, бѣгая съ фотографическимъ аппаратомъ. А въ кабинетъ на окнѣ, рядышкомъ, какъ убитые на кладбищѣ, лежали черные негативы и сушились.

— Господа евреи просили снимать раненыхъ, — съ выраженіемъ счастья и всхлипывая, объяснялъ Пасхалову Небесный. — И убитыхъ... Я, Федоръ Павловичъ, съ удовольствіемъ... Хорошую плату даже предлагаютъ, но это зачѣмъ же? Мнѣ не нужно платы, я очень радъ, я имъ это съ удовольствіемъ... Наши семинарскіе тутъ синагогу ихнюю поджигали, — я тоже снимочекъ сдѣлалъ... Очень интересно... Я и для васъ отпечатаю, Федоръ Павловичъ, на хромо-серебряной бумагѣ.

Абрама Пасхаловъ нашель перваго. Старикъ былъ живъ и въ сознаніи, и все умолялъ, чтобы сказали ему, гдѣ жена его и дочь. Жена и дочь лежали черезъ корридоръ, Хана — остывшимъ уже трупомъ, Роза — живою, съ признаками наступавшаго улучшенія.

Пасхаловъ долго смотрѣлъ на дѣвочку, отвернувъ одѣяло, смотрѣлъ на худыя, бѣлыя

руки, на коротенькій шестой палець, торчавшій на лѣвой кисти у мизинца... «Бо Розочку Богъ таки любить... И ужъ она не будетъ терпѣть такія униженія, какъ ея родители»...

Онъ вышелъ потомъ изъ палаты въ корридоръ, и изъ корридора на улицу.

— Какія же распоряженія, Федоръ Павловичъ, — всхлипывая, погнался за нимъ Небесный.

Пасхаловъ не взглянулъ на него, не отвѣтилъ, и продолжалъ идти.

Онъ опять пришелъ на кладбище, и опять бродилъ здѣсь, — среди рыдавшихъ и среди навѣки умолкшихъ... Бродилъ до вечера, и когда вечеромъ рыдавшіе ушли, и остались только умолкшіе, — остался съ ними и онъ... И какъ они, молчалъ онъ, хотъ и живой, и какъ они, молчалъ онъ и на другой день, когда измученные, потрясенные, въ ужасъ ввергнутые бесплодными розысками въ теченіе долгой ночи, нашли его, наконецъ, пріѣхавшіе на еврейское кладбище о. Павелъ, Арина Петровна и инженеръ Васильковскій. Онъ не отвѣчалъ имъ на ихъ вопросы, онъ не зналъ,



спрашиваютъ ли его; онъ медленно и не оглядываясь шель среди могиль, впередъ, все впередъ...

Потомъ, внезапно повернувшись къ отцу, онъ отчетливо и твердо произнесъ:

— Ты права, сестра! Ты права.

... И изъ всѣхъ человѣческихъ словъ это были единственныя, которыя оставались теперь у него, и которыя и впоследствии, въ теченіе всей недолгой и грустной его жизни, удалось кому-нибудь отъ него услышать:

— Ты права, сестра!..

И когда увозили его старики съ кладбища, на Александровскомъ проспектѣ встрѣтилась имъ, окруженная полиціей и быстро прискакавшими казаками, Наталья — спокойная, гордая, свѣтло улыбающаяся улыбкою мстителя. Въ возбужденной толпѣ неся смутный гулъ: «убила губернатора, застрѣлила губернатора».